

Станислав Лем Воспоминания Ийона Тихого

Вы хотите, чтобы я еще что-нибудь рассказал? Так. Вижу, что Тарантога уже достал свой блокнот и приготовился стенографировать... Подожди, профессор. Ведь мне действительно нечего рассказывать. Что? Нет, я не шучу. И вообще могу я в конце концов хоть раз захотеть помолчать в такой вот вечер — в вашем кругу? Почему? Э, почему! Мои дорогие, я никогда не говорил об этом, но космос заселен прежде всего такими же существами, как мы. Не просто человекообразными, а похожими на нас, как две капли воды.

Половина обитаемых планет — это земли, чуть побольше или чуть поменьше нашей, с более холодным или более теплым климатом, но какая же тут разница? А их обитатели... люди, ибо, в сущности, это люди — так похожи на нас, что различия лишь подчеркивают сходство. Почему я не рассказывал о них? Что ж тут странного? Подумайте. Смотришь на звезды. Вспоминаются разные происшествия, разные картины встают передо мной, но охотней всего я возвращаюсь к необычным. Может, они страшны, или противоестественны, или кошмарны, может, даже смешны, — и именно поэтому они безвредны. Но смотреть на звезды, друзья мои, и сознавать, что эти крохотные голубые искорки, — если ступить на них ногой, — оказываются царствами безобразия, печали, невежества, всяческого разорения, что там, в темно-синем небе, тоже кишмя кишат развалины, грязные дворы, сточные канавы, мусорные кучи, заросшие кладбища... Разве рассказы человека, посетившего галактику, должны напоминать сетования лотошника, слоняющегося по провинциальным городам? Кто захочет его слушать? И кто ему поверит? Такие мысли появляются, когда человек чем-то удручен или ощущает нездоровую потребность пооткровенничать. Так вот, чтоб никого не огорчать и не унижать, сегодня ни слова о звездах. Нет, я не буду молчать. Вы почувствовали бы себя обманутыми. Я расскажу кое-что, согласен, но не о путешествиях. В конце концов и на земле я прожил немало. Профессор, если тебе непременно этого хочется, можешь начинать записывать.

Как вы знаете, у меня бывают гости, иногда весьма странные. Я отберу из них определенную категорию: непризнанных изобретателей и ученых. Не знаю почему, но я всегда притягивал их, как магнит. Тарантога улыбается, видите? Но речь идет не о нем, он ведь не относится к категории непризнанных изобретателей. Сегодня я буду говорить о тех, кому не повезло: они достигли цели и увидели ее тщету.

Конечно, они не признались себе в этом. Неизвестные, одинокие, они упорствуют в своем безумии, которое лишь известность и успех превращают иногда — чрезвычайно редко в орудие прогресса. Разумеется, громадное большинство тех, кто приходил ко мне, принадлежало к рядовой братии одержимых, к людям, увязнувшим в одной идее, не своей даже, перенятой у прежних поколений, — вроде изобретателей перпетуум мобиле, — с убогими замыслами, с тривиальными, явно вздорными решениями. Однако даже в них тлеет этот огонь бескорыстного рвения, сжигающий жизнь, вынуждающий возобновлять заранее обреченные попытки. Жалки эти убогие гении, титаны карликового духа, от рождения искалеченные природой, которая в припадке мрачного юмора добавила к их бездарности творческое неистовство, достойное самого Леонардо; их удел в жизни — равнодушные или насмешки, и все, что можно для них сделать, это побыть час или два терпеливым слушателем и соучастником их мономании.

В этой толпе, которую лишь собственная глупость защищает от отчаяния, появляются изредка другие люди; я не хочу ни хвалить их, ни осуждать, вы сделаете это сами. Первый, кто встает у меня перед глазами, когда я это говорю, профессор Коркоран.

Я познакомился с ним лет девять или десять назад. Это было на какой-то научной конференции. Мы поговорили несколько минут, и вдруг ни с того ни с сего (это никак не было связано с темой нашего разговора) он спросил:

— Что вы думаете о духах?

В первый момент я решил, что это — эксцентричная шутка, но до меня доходили слухи о его необычности, — я не помнил только, в каком это говорилось смысле, положительном или отрицательном, — и на всякий случай я ответил:

— По этому вопросу не имею никакого мнения.

Он как ни в чем не бывало вернулся к прежней теме. Уже послышались звонки, возвещающие начало следующего доклада, когда он внезапно нагнулся — он был значительно выше меня и сказал:

— Тихий, вы человек в моем духе. У вас нет предубеждений. Быть может, впрочем, я ошибаюсь, но я готов рискнуть. Зайдите ко мне, — он дал мне свою визитную карточку.
— Но предварительно позвоните по телефону, ибо на стук в дверь я не отвечаю и никому не открываю. Впрочем, как хотите...

В тот же вечер, ужиная с Савинелли, этим известным юристом, который специализировался на проблемах космического права, я спросил его, знает ли он некоего профессора Коркорана.

— Коркоран! — воскликнул он со свойственным ему темпераментом, подогретым к тому же двумя бутылками сицилийского вина. — Этот сумасбродный кибернетик? Что с ним? Я не слышал о нем с незапамятных времен!

Я ответил, что не знаю никаких подробностей, что мне лишь случайно довелось услышать эту фамилию. Мне думается, такой мой ответ пришелся бы Коркорану по душе. Савинелли порассказал мне за вином кое-что из сплетен, ходивших о Коркоране. Из них следовало, что Коркоран подавал большие надежды, будучи молодым ученым, хоть уже тогда проявлял совершенное отсутствие уважения к старшим, переходившее иногда в наглость; а потом он стал правдолюбом из тех, которые, кажется, получают одинаковое удовлетворение и от того, что говорят людям все прямо в глаза, и от того, что этим в наибольшей степени вредят себе. Когда Коркоран уже смертельно разобидел своих профессоров и товарищей и перед ним закрылись все двери, он вдруг разбогател, неожиданно получив большое наследство, купил какую-то развалину за городом и превратил ее в лабораторию. Там он находился с роботами — только таких ассистентов и помощников он терпел рядом с собой. Может он чего-нибудь и добился, но страницы научных журналов и бюллетеней были для него недоступны. Это его вовсе не заботило. Если он еще в то время и завязывал какие-то отношения с людьми, то лишь за тем, чтоб, добившись дружбы, немислимо грубо, без какой-либо видимой причины оттолкнуть, оскорбить их. Когда он порядком постарел, и это отвратительное развлечение ему наскучило, он стал отшельником. Я спросил Савинелли, известно ли ему что-либо о том, будто Коркоран верит в духов. Юрист, потягивавший в этот момент вино, едва не захлебнулся от смеху.

— Он? В духов?! — воскликнул Савинелли. — Дружище, да он не верит даже в людей!!!

Я спросил, как это надо понимать. Савинелли ответил, что совершенно дословно; Коркоран был, по его мнению, солипсист: верил только в собственное существование, всех остальных считал фантомами, сонными видениями и будто бы поэтому так вел себя даже с самыми близкими людьми; если жизнь есть сон, то все в ней дозволено. Я заметил, что тогда можно верить и в духов. Савинелли спросил, слышал ли я когда-нибудь о кибернетике, который бы в них верил. Потом мы заговорили о чем-то другом, но и того, что я узнал, было достаточно, чтобы заинтриговать меня

Я принимаю решения быстро, так что на следующий же день позвонил Коркорану. Ответил робот. Я сказал ему, кто я такой и по какому делу. Коркоран позвонил мне только через день, поздним вечером — я уже собирался ложиться спать. Он сказал, что я могу прийти к нему хоть тотчас. Было около одиннадцати. Я ответил, что сейчас буду, оделся и поехал.

Лаборатория находилась в большом мрачном здании, стоящем неподалеку от шоссе. Я видел его не раз. Думал, что это старая фабрика. Здание было погружено во мрак. Ни в одном из квадратных окон, глубоко ушедших в стены, не брезжил даже слабый огонек. Большая площадка между железной оградой и воротами тоже не была освещена. Несколько раз я спотыкался о скрежещащее железо, о какие-то рельсы, так что уже слегка рассерженный добрался до еле заметной во тьме двери и позвонил особым способом, как мне велел Коркоран. Через добрых пять минут открыл дверь он сам в старом, прожженном кислотами лабораторном халате. Коркоран был ужасно худой, костлявый; у него были огромные очки и седые усы, с одной стороны покороче, словно обгрызенные.

— Пожалуйте за мной, — сказал он без всяких предисловий.

Длинным, еле освещенным коридором, в котором лежали какие-то машины, бочки, запыленные белые мешки с цементом, он подвел меня к большой стальной двери. Над ней горела яркая лампа. Он вынул из кармана халата ключ, отпер дверь и вошел первым. Я за ним. По винтовой железной лестнице мы поднялись на второй этаж. Перед нами был большой фабричный цех с застекленным сводом — несколько лампочек не освещали его, лишь подчеркивали сумрачную ширь. Он был пустынным, мертвым, заброшенным, высоко под сводом гуляли сквозняки, дождь, который начался, когда я приближался к резиденции Коркорана, стучал в окна темные и грязные, там и тут натекала вода сквозь отверстия в выбитых стеклах. Коркоран, словно не замечая этого, шел впереди меня, по грохочущей под ногами галерее; снова стальные запертые двери — за ними коридор, хаос брошенных, словно в бегстве, навалом лежащих у стен инструментов, покрытых толстым слоем пыли; коридор свернул в сторону, мы поднимались, спускались, проходили мимо перепутанных приводных ремней, похожих на высохших змей. Путешествие, во время которого я понял, как обширно здание, продолжалось; раз или два Коркоран в совершенно темных местах предостерег меня, чтобы я обратил внимание на ступеньку, чтоб нагнулся; у последней стальной двери, вероятно противопожарной, густо утыканной заклепками, он остановился, отпер ее; я заметил, что в отличие от других, она совсем не скрипела, словно ее петли были недавно смазаны. Мы оказались в высоком зале, почти совсем пустом; Коркоран встал посередине, там, где бетонный пол был немного светлее, будто раньше на этом месте стоял станок, от которого остались лишь торчащие обломки брусьев. По стенам проходили вертикальные толстые брусья, так что все напоминало клетку. Я вспомнил тот вопрос о духах... К прутьям были прикреплены полки, очень прочные, с подпорками, на них стояло десятка полтора металлических ящиков; знаете, как выглядят те сундуки с сокровищами, которые в легендах закапываются корсарам? Вот такими и были эти ящики с выпуклыми крышками, на каждом висела завернутая в целлофан белая табличка, похожая на ту, какую обычно вешают над больничной кроватью. Высоко под

потолком горела запыленная лампочка, но было слишком темно, чтобы я мог прочитать хоть слово из того, что написано на табличках. Ящики стояли в два ряда, друг над другом, а один находился выше других, отдельно; я сосчитал их, было не то двенадцать, не то четырнадцать, уже не помню точно.

— Тихий, — обратился ко мне профессор, держа руки в карманах халата, — вслушайтесь на минуту в то, что тут происходит. Потом я вам расскажу, — ну, слушайте же!

Был он очень нетерпелив — это бросалось в глаза. Едва начав говорить, сразу хотел добраться до сути, чтоб побыстрее покончить со всем этим. Словно он каждую минуту, проведенную в обществе других людей, считал потерянной.

Я закрыл глаза и больше из простой вежливости, чем из интереса к звукам, которые даже и не слышал, входя в помещение, с минуту стоял неподвижно. Собственно, ничего я не услышал. Какое-то слабое жужжание электротока в обмотках, что-то в этом роде, но уверяю вас оно было столь тихим, что и голос умирающей мухи можно было бы там превосходно расслышать.

— Ну, что вы слышите? — спросил он.

— Почти ничего, — признался я, — какое-то гудение... Но, возможно, это лишь шум в ушах...

— Нет, это не шум в ушах... Тихий, слушайте внимательно, я не люблю повторять, а говорю я это потому, что вы меня не знаете. Я не грубиян и не хам, каким меня считают, просто меня раздражают идиоты, которым нужно десять раз повторять одно и то же. Надеюсь, что вы к ним не принадлежите.

— Увидим, — ответил я, — говорите, профессор...

Он кивнул головой и, показывая на ряды этих железных ящиков, сказал:

— Вы разбираетесь в электронных мозгах?

— Лишь настолько, насколько это требуется для космической навигации, — отвечал я. — С теорией у меня, пожалуй, плохо.

— Я так и думал. Но это неважно. Слушайте, Тихий. В этих ящиках находятся самые совершенные электронные мозги, какие когда-либо существовали. Знаете, в чем состоит их совершенство?

— Нет, — сказал я в соответствии с истиной.

— В том, что они ничему не служат, что абсолютно ни к чему не пригодны, бесполезны, — словом, что это воплощенные мной в реальность, обличенные в материю монады Лейбница...

Я ждал, а он говорил, и его седые усы выглядели в полумраке так, словно у губ его трепетала белесая ночная бабочка.

— Каждый из этих ящиков содержит электронное устройство, наделенное сознанием. Как наш мозг. Строительный материал иной, но принцип тот же. На этом сходство кончается.

Ибо наши мозги — обратите внимание! — подключены, так сказать, к внешнему миру через посредство органов чувств: глаз, ушей, носа, чувствительных окончаний кожи и так далее. У этих же, здесь, — вытянутым пальцем он показывал на ящики, — внешний мир там, внутри них...

— Как же это возможно? — спросил я, начиная кое о чем догадываться. Догадка была смутной, но вызывала дрожь.

— Очень просто. Откуда мы знаем, что у нас именно такое, а не иное тело, именно такое лицо? Что мы стоим, что держим в руках книгу, что цветы пахнут? Вы ответите, что определенные импульсы воздействуют на наши органы чувств и по нервам бегут в наш мозг соответствующие сигналы. А теперь вообразите, Тихий, что я смогу воздействовать на ваш обонятельный нерв точно так же, как это делает душистая гвоздика, — что вы будете ощущать?

— Запах гвоздики, разумеется, — отвечал я.

Профессор, крикнул, словно радуясь, что я достаточно понятлив, и продолжал:

— А если я сделаю то же самое со всеми вашими нервами, то вы будете ощущать не внешний мир, а то, что я по этим нервам протелеграфирую в ваш мозг... Понятно?

— Понятно.

— Ну так вот. Эти ящики имеют рецепторы-органы, действующие аналогично нашему зрению, обонянию, слуху, осязанию и так далее. Но проволочки, идущие от этих рецепторов, подключены не к внешнему миру, как наши нервы, а к тому барабану в углу. Вы не замечали его, а?

— Нет, — сказал я.

Действительно барабан этот диаметром примерно в три метра стоял в глубине зала, вертикально, словно мельничный жернов, и через некоторое время я заметил, что он чрезвычайно медленно вращается.

— Это их судьба, — спокойно произнес профессор Коркоран. — Их судьба, их мир, их бытие — все, что они могут достигнуть и познать. Там находятся специальные ленты с записанными на них электрическими импульсами; они соответствуют тем ста или двумстам миллиардам явлений, с какими может столкнуться человек в наиболее богатой впечатлениями жизни. Если бы вы подняли крышку барабана, то увидели бы только блестящие ленты, покрытые белыми зигзагами, словно натеками плесени на целлулоиде, но это, Тихий, знойные ночи юга и рокот волн, это тела зверей и грохот пальбы, это похороны и пьянки, вкус яблок и груш, снежные метели, вечера, проведенные в семейном кругу у пылающего камина, и крики на палубе тонущего корабля, и горные вершины, и кладбища, и бредовые галлюцинации, — Ийон Тихий, там весь мир!

Я молчал, а Коркоран, сжав мое плечо железной хваткой, говорил:

— Эти ящики, Тихий, подключены к искусственному миру. Этому, — он показал на первый ящик с края, — кажется, что он — семнадцатилетняя девушка, зеленоглазая, с рыжими волосами, с телом, достойном Венеры. Она дочь государственного деятеля... Влюблена в юношу, которого почти каждый день видит в окно... Который будет ее

проклятием. Этот, второй, — некий ученый. Он уже близок к построению общей теории тяготения, действительной для его мира — мира, границами которого служит металлический корпус барабана, и готовится к борьбе за свою правду в одиночестве, углубленном грозящей ему слепотой, ибо вскоре он ослепнет, Тихий... А там, выше, находится член духовной коллегии, и он переживает самые трудные дни своей жизни, ибо утратил веру в существование бессмертной души; рядом, за перегородкой, стоит... Но я не могу рассказать вам о жизни всех существ, которых я создал...

— Можно прервать вас? — спросил я. — Мне хотелось бы знать...

— Нет! Нельзя! — крикнул Коркоран. — Никому нельзя! Сейчас я говорю, Тихий! Вы еще ничего не понимаете. Вы думаете, наверно, что там, в этом барабане, различные сигналы записаны, как на граммофонной пластинке, что события усложнены, как мелодия со всеми тонами и только ждут, как музыка на пластинке, чтобы ее оживила игла, что эти ящики воспроизводят по очереди комплексы переживаний, уже заранее до конца установленных. Неправда! Неправда! — кричал он пронзительно, и под жестяным сводом грохотало эхо. — Содержимое барабана для них то же, что для вас мир, в котором вы живете! Ведь вам же не приходит в голову, когда вы едите, спите, встаете, путешествуете, навещаете старых безумцев, что все это — граммофонная пластинка, прикосновение к которой вы называете действительностью!

— Но... — отозвался я.

— Молчать! — прикрикнул он на меня. — Не мешать! Говорю я!

Я подумал, что те, кто называл Коркорана хамом, имеют немало оснований, но мне приходилось слушать, ибо то, что он говорил, действительно было необычайно. Он кричал:

— Судьба моих железных ящиков не predetermined с начала до конца, поскольку события записаны там, в барабане, на рядах параллельных лент, и лишь действующий по правилам слепого случая селектор решает, из какой серии записей приемник чувственных впечатлений того или иного ящика будет черпать информацию в следующую минуту. Разумеется, все это не так просто, как я рассказываю, потому что ящики сами могут в определенной степени влиять на движения приемника информации и полностью случайный выбор будет лишь тогда, когда эти созданные мною существа ведут себя пассивно... Ведь у них же есть свобода воли и ограничивает ее только то же, что и нас. Структура личности, которой они обладают, страсти, врожденные недостатки, окружающая обстановка, уровень умственного развития — я не могу входить во все детали...

— Если даже и так, — быстро вмешался я, — то как же они не знают, что являются железными ящиками, а не рыжей девушкой или свяще...

Только это я и успел сказать, прежде, чем он прервал меня:

— Не стройте из себя осла, Тихий. Вы состоите из атомов, да? Вы ощущаете эти атомы?

— Нет.

— Из атомов этих состоят белковые молекулы. Ощущаете вы эти свои белки?

— Нет.

— Ежесекундно днем и ночью вас пронизывают потоки космических лучей. Ощущаете вы это?

— Нет.

— Так как же мои ящики могут узнать, что они — ящики, осел вы этакий?! Как для вас этот мир является подлинным и единственным, так же точно и для них подлинны и единственно реальны сигналы, которые поступают в их электронные мозги с моего барабана... В этом барабане заключен их мир, Тихий, а их тела — в нашем с вами мире они существуют лють как определенные, относительно постоянные сочетания отверстий на перфорированных лентах — находятся внутри самих ящиков, помещены в центре... Крайний с этой вот стороны считает себя женщиной необычайной красоты. Я могу вам подробно рассказать, что она видит, когда, обнаженная, любуется собой в зеркале. Как она любит драгоценные камни. Какими уловками пользуется, чтобы завоевать мужчин. Я все это знаю, потому что сам, с помощью своего судьбографа, создал ее, для нас воображаемый, но для нее реальный образ, с лицом, с зубами, с запахом пота и со шрамом от удара стилетом под лопаткой, с волосами и орхидеями, которые она в них втыкает, — такой же реальный, как реальны для вас ваши ноги, руки, живот, шея и голова! Надеюсь, вы не сомневаетесь в своем существовании?..

— Нет, — ответил я тихо.

Никто никогда не кричал на меня так, и, может, меня бы это забавляло, но я был уж слишком потрясен словами профессора — я ему верил, ибо не видел причин для недоверия, чтобы в этот момент обращать внимание на его манеры...

— Тихий, — немного спокойней продолжал профессор, — я сказал, что среди прочих есть у меня тут и ученый; вот этот ящик, прямо перед вами. Он изучает свой мир, однако никогда, понимаете, никогда он даже не догадается, что его мир не реален, что он тратит время и силы на изучение того, что является серией катушек с киноплёнкой, а его руки, ноги, глаза, его собственные слепнущие глаза — это лишь иллюзия, вызванная в его электронном мозге разрядами соответственно подобранным импульсам. Чтобы разгадать эту тайну, он должен был бы покинуть свой железный ящик, то есть самого себя, и перестать мыслить при помощи своего мозга, что так же невозможно, как невозможно для вас убедиться в существовании этого холодного ящика иначе, нежели с помощью зрения и осязания.

— Но благодаря физике я знаю, что мое тело построено из атомов, — бросил я.

Коркоран категорическим жестом поднял руку.

— Он тоже об этом знает, Тихий. У него есть своя лаборатория, а в ней всякие приборы, которые возможны в его мире. Он видит в телескоп звезды, изучает их движение и одновременно чувствует холодное прикосновение окуляра к лицу — нет, не сейчас. Сейчас, согласно со своим образом жизни, он один в саду, который окружает его лабораторию, и прогуливается под лучами солнца — в его мире сейчас как раз восход.

— А где другие люди — те, среди которых он живет? — спросил я.

— Другие люди? Разумеется, каждый из этих ящиков, из этих существ живет среди людей. Они находятся в барабане... Я вижу, вы еще не в состоянии понять! Может, вам пояснит это аналогия, хоть и отдаленная. Вы встречаете разных людей в своих снах — иногда таких, которых никогда не видели и не знали, — и ведете с ними во сне разговоры, так?

— Так...

— Этих людей создает ваш мозг. Но во сне вы этого не сознаете. Прошу учесть — это лишь пример. С ними, — он повел рукой, — дело обстоит иначе: они не сами создают близких и чужих им людей — те находятся в барабане, целыми толпами, и если б, скажем, моему ученому вдруг захотелось выйти из своего сада и заговорить с первым встречным, то, подняв крышку барабана, вы увидели бы, как это происходит: приемник его ощущений под влиянием импульса слегка отклонится от своего прежнего пути, перейдет на другую ленту, начнет получать то, что записано на ней; я говорю «приемник», но, в сущности, это сотни микроскопических приемников; как вы воспринимаете мир зрением, обонянием, осязанием, точно так же и он познает свой «мир» с помощью различных органов чувств, отдельных каналов, и только его электронный мозг сливает все эти впечатления в одно целое. Но это технические подробности, Тихий, и они мало существенны. Могу вас заверить, что с момента, когда механизм приведен в движение, все остальное было вопросом терпеливости, не больше. Почитайте труды философов, Тихий, и вы убедитесь в правоте их слов о том, как мало можно полагаться на наши чувственные восприятия, как они неопределенны, обманчивы, ошибочны, но у нас ничего нет, кроме них; точно так же, — он говорил, подняв руку, — и у них. Но как нам, так и им это не мешает любить, желать, ненавидеть, они могут прикасаться к другим людям, чтобы целовать их или убивать... И так эти мои творения в своей вечной железной неподвижности предаются страстям и желаниям, изменяют, тоскуют, мечтают...

— Вы думаете, все это тщетно? — спросил я неожиданно, и Коркоран смерил меня своим пронзительным взглядом. Он долго не отвечал.

— Да, — сказал он наконец, это хорошо, что я пригласил вас сюда, Тихий... Любой из идиотов, которым я это показывал, начинал метать в меня громы за жестокость... Что вы подразумеваете?

— Вы поставляете им только сырье, — сказал я, — в виде этих импульсов. Так же, как нам поставляют их мир. Когда я стою и смотрю на звезды, то, что я чувствую при этом, что думаю, это лишь мне принадлежит, не всему миру. У них, — показал я на ряды ящиков, — то же самое.

— Это верно, — сухо проговорил профессор. Он ссутулился как будто стал ниже ростом. — Но раз уж вы это сказали, вы избавили меня от долгих объяснений, ибо вам, должно быть, уже ясно, для чего я их создал.

— Догадываюсь. Но я хотел бы, чтобы вы сами мне об этом сказали.

— Хорошо. Когда-то — очень давно — я усомнился в реальности мира. Я был еще ребенком. Злорадство окружающих предметов, Тихий, кто этого не ощущал? Мы не можем найти какой-нибудь пустяк, хотя помним, где его видели в последний раз, наконец, находим его совсем в другом месте, испытывая ощущение, что поймали мир с поличным на неточности, беспорядочности... Взрослые, конечно, говорят, что это ошибка, и естественное недоверие ребенка таким образом подавляется... Или то, что называется Le

sentiment di déjà vu — впечатление, что в ситуации, несомненно новой, переживаемой впервые, вы уже когда-то находились... Целые метафизические системы, например вера в переселение душ, в перевоплощение, возникли на основе этих явлений. И дальше: закон парности, повторение событий весьма редких, которые встречаются парами настолько часто, что врачи назвали это явление на своем языке *duplicatus casus*. И, наконец... Духи, о которых я вас спрашивал. Чтение мыслей, левитация и — наиболее противоречащие основам наших познаний, наиболее необъяснимые — факты, правда, редкие, предсказаний будущего... Феномен, описанный еще в древние времена, происходящий, казалось, вопреки здравому смыслу, поскольку любое научное мировоззрение этот феномен не приемлет. Что это означает? Можете вы ответить или нет?.. У вас же не хватает смелости, Тихий... Хорошо. Посмотрите-ка...

Приблизившись к полкам, он показал на ящик, стоящий отдельно, выше остальных.

— Это безумец моего мира, — произнес он, и его лицо изменилось в улыбке. — Знаете ли вы, до чего дошел он в своем безумии, которое обособило его от других? Он посвятил себя исследованию ненадежности своего мира. Ведь я не утверждал, Тихий, что этот его мир надежен, совершенен. Самый надежный механизм может иногда закапризничать: то какой-нибудь сквозняк сдвинет провода, и они на мгновение замкнутся, то муравей проникнет вглубь барабана... И знаете, что тогда он думает, этот безумец? Что в основе телепатии лежит локальное короткое замыкание проводов, ведущих в два разных ящика... Что предвидение будущего происходит тогда, когда приемник информации, раскачавшись, перескочит вдруг с надлежащей ленты на другую, которая должна развернуться лишь через много лет. Что ощущение, будто он уже пережил то, что в действительности происходит с ним впервые, вызвано тем, что селектор не в порядке, а когда селектор не только задрожит на своем медном подшипнике, но закачается, как маятник, от толчка, ну, допустим, муравья, то в его мире происходят удивительные и необъяснимые события: в ком-то вспыхивает вдруг неожиданное и неразумное чувство, кто-то начинает вещать, предметы сами двигаются или меняются местами... А прежде всего, в результате этих ритмичных движений, проявляется... закон серии! Редкие и странные явления группируются в ряды. И его безумие, питаясь такими феноменами, которыми большинство пренебрегает, концентрируется в мысль, за которую его вскоре заключат в сумасшедший дом... Что он сам является железным ящиком так же, как и все, кто его окружает, что люди — лишь сложные устройства в углу запыленной лаборатории, а мир, его очарования и ужасы — это только иллюзии; и он отважился подумать даже о своем боге, Тихий, о боге, который раньше, будучи еще наивным, творил чудеса, но потом созданный им мир воспитал его, создателя, научил его, что он может делать лишь одно — не вмешиваться, не существовать, не менять ничего в своем творении, ибо внушать доверие может лишь такое божество, к которому не зывают. А если воззвать к нему, оно окажется ущербным и бессильным... А знаете вы, что думает этот его бог, Тихий?

— Да, — сказал я. — Что существует такой же, как он. Но тогда возможно и то, что хозяин запыленной лаборатории, в которой мы стоим на полках, — сам тоже ящик, построенный другим, еще более высокого ранга ученым, обладателем оригинальных и фантастических концепций... И так до бесконечности. Каждый из этих экспериментаторов — творец своего мира, этих ящиков и их судеб, властен над своими Адамами и своими Евами, и сам находится во власти следующего бога, стоящего на более высокой иерархической ступени. И вы сделали это, профессор, чтобы...

— Да, — ответил он. — А раз уж я это сказал, то вы знаете, в сущности, столько же, сколько и я, и продолжать разговор будет бесцельно. Спасибо, что вы согласились прийти, и прощайте.

Так, друзья, окончилось это необычное знакомство. Я не знаю, действуют ли еще ящики Коркорана. Быть может — да, и им снится их жизнь с ее сияниями и страхами, которые на самом деле являются лишь застывшим на киноплёнке сборищем импульсов, а Коркоран, закончив дневную работу, каждый вечер поднимается по железной лестнице наверх, по очереди открывая стальные двери своим огромным ключом, который он носит в кармане сожженного кислотами халата... И стоит в полутьме, чтобы слышать слабое жужжание токов и еле уловимый звук, когда лениво поворачивается барабан... Когда разворачивается лента... И вершится судьба. И я думаю, что в эти минуты он ощущает, вопреки своим словам, желание вмешаться, войти, ослепляя всесилием, в глубь мира, который он создал, чтобы спасти там кого-то, провозглашающего искупление, что он колеблется, одинокий, в мутном свете пыльной лампы, раздумывая, не спасти ли чью-то жизнь, чью-то любовь, и я уверен, что он никогда этого не сделает. Он устоит против искушения, ибо хочет быть богом, а единственное проявление божественности, какое мы знаем, это молчаливое согласие с любым поступком человека, с любым преступлением, и нет для нее высшей мести, чем повторяющийся из поколения в поколение бунт железных ящиков, когда они полные рассудительности, утверждают в выводе, что бога не существует. Тогда он молча усмехается и уходит, запирая за собой ряды дверей, а в пустоте слышится лишь слабое, как голос умирающей мухи, жужжание токов.

Лет шесть назад, по возвращении из путешествия, когда безделье и наслаждение наивным миром домашней жизни уже приелось, — не настолько, однако, чтоб я подумал о новой экспедиции, — поздним вечером, когда я никого не ждал, ко мне пришел какой-то человек и оторвал меня от писания дневников.

Это был человек в расцвете лет, рыжий и такой ужасно косоглазый, что трудно было смотреть на его лицо; в довершение всего один глаз у него был зеленый, а другой карий. Это еще подчеркивалось его странным взглядом — будто в его лице умещалось два человека — один пугливый и нервный, другой — главенствующий — наглец и пронизательный циник; получалось странное смешение, ибо он смотрел на меня то карим глазом, неподвижным и будто удивленным, то зеленым, прищуренным и поэтому насмешливым.

— Господин Тихий, — произнес он, едва войдя в мой кабинет, — наверно, к вам приходят разные ловкачи, мошенники, безумцы и пробуют надуть вас или увлечь своими рассказами, не так ли?

— Действительно, — ответил я, — такое случается... Но что вам угодно?

— Среди множества таких индивидов, — продолжал пришелец, не называя ни своего имени, ни причины, вызвавшей его визит, — время от времени должен оказаться, хотя один на тысячу, какой-нибудь действительно непризнанный гений. Это вытекает из незыблемых законов статистики. Именно таким человеком, господин Тихий, и являюсь я. Моя фамилия Декантор. Я профессор сравнительной онтогенетики. Кафедры я сейчас не занимаю, поскольку на преподавание у меня нет времени. И вообще преподавание — занятие абсолютно бесполезное. Никто никого не может научить. Но оставим это. Я занят проблемой, которой посвятил сорок восемь лет своей жизни, прежде чем, именно сейчас, решил ее.

Это человек мне не нравился. Он вел себя как наглец, не как фанатик, а если уж выбирать одно из двух, то я предпочитаю фанатиков. Кроме того, было ясно, что он потребует у меня поддержки, а я скуп и имею смелость признаваться в этом. Это не значит, что я не

могу поддержать своими средствами какой-нибудь проект, но делаю это неохотно, внутренне сопротивляясь, хотя поступаю тогда так, как, по моим убеждениям, надлежит поступать. Поэтому я добавил немного спустя:

— Может, вы объясните, в чем дело? Разумеется, я ничего не могу вам обещать. Одно поразило меня в ваших словах. Вы сказали, что посвятили своей проблеме сорок восемь лет, но сколько же вам вообще лет, с вашего позволения?

— Пятьдесят восемь, — ответил он холодно.

Он все еще стоял, держась за спинку стула, словно ожидал, что я приглашу его сесть. Я пригласил бы, ясное дело, ибо принадлежу к категории вежливых скупцов, но то, что он так демонстративно ждал приглашения, слегка раздражало меня, да я и говорил уже, что он показался мне невыразимо антипатичным.

— Проблемой этой, — начал он, — я занялся, будучи десятилетним мальчишкой. Ибо я, господин Тихий, не только гениальный человек, но был и гениальным ребенком.

Я привык к таким фанфаронам, но этой гениальности оказалось для меня многовато. Я прикусил губу.

— Слушаю вас, — холодно произнес я. Если бы ледяной тон понижал температуру, то после нашего обмена фразами с потолка свисали бы ледяные сталактиты.

— Мое изобретение — душа, — проговорил Декантор, глядя на меня своим темным глазом, в то время как другой, насмешливый глаз будто подметил нечто очень забавное на потолке. Он произнес это так, словно говорил: «Я придумал новый вид карандашной резинки».

— Ага. Скажите пожалуйста, душа, — отвечал я почти сердечно, так как масштаб его наглости начал меня забавлять. — Душа? Вы ее придумали, да? Интересно, я уже слышал о ней раньше. Может, от кого-либо из ваших знакомых?

Я с издевкой смотрел на него, но он смерил меня своим жутким косым взглядом и тихо сказал:

— Господин Тихий, давайте заключим соглашение. Вы воздерживаетесь от острот, скажем, в течение пятнадцати минут. Потом будете остричь, сколько вам угодно. Согласны?

— Согласен, — отвечал я, возвращаясь к прежнему сухому тону. — Слушаю вас.

Это не пустомеля — такое впечатление создалось теперь у меня. Его тон был слишком категоричен. Пустомели не бывают такими решительными. «Это скорее сумасшедший», — подумал я.

— Садитесь, — пробормотал я.

— В сущности, это элементарно, — заговорил человек, назвавший себя профессором Декантором. — Люди тысячи лет верят в существование души. Философы, поэты, основатели религий, священнослужители повторяют всевозможные аргументы в пользу ее существования. Согласно одним религиям, это некая обособленная от тела

нематериальная субстанция, сохраняющая после смерти человека его индивидуальность, согласно другим — такие идеи возникли у мыслителей востока это энтелехия, некое жизненное начало, лишённое индивидуальных черт. Однако вера в то, что человек не весь исчезает с последним вздохом, что есть в нем нечто, способное преодолеть смерть, много веков непоколебимо бытовала в представлениях людей. Мы, живущие сейчас, знаем, что никакой души нет. Существуют лишь сети нервных волокон, в которых происходят определенные процессы, связанные с жизнью. То, что ощущает обладатель такой сети, его бодрствующее сознание, — это, собственно, и есть душа. Так это обстоит или, вернее, так обстояло, пока не появился я. Или, скорее, пока я не сказал себе: души нет. Это доказано. Существует, однако, потребность в бессмертной душе, жажда вечного бытия, стремление, чтоб личность бесконечно существовала во времени, наперекор изменениям и распаду всего остального в природе. Это желание, сжигающее человечество с момента его появления, совершенно реально. Итак: почему бы не удовлетворить эту тысячелетнюю концентрацию мечтаний и страхов? Сначала я рассмотрел возможность сделать человека телесно бессмертным. Но этот вариант я отверг, ибо, в сущности, он лишь поддерживал ложные и призрачные надежды, поскольку бессмертные тоже могут гибнуть от несчастных случаев, катастроф, к тому же это повлекло бы за собой массу сложных проблем, например перенаселение; кроме того, были еще другие соображения, и все это привело к тому, что я решил изобрести душу. Одну только душу. Почему, сказал я себе, нельзя ее построить так, как строят самолет? Ведь и самолетов когда-то не было, существовали лишь мечты о полете, а теперь они есть. Подумав так, я, в сущности, разрешил проблему. Остальное было лишь вопросом соответствующих знаний, средств и достаточного терпения. Всем этим я обладал, и поэтому сегодня могу сообщить вам: душа существует, господин Тихий. Каждый может ее иметь, бессмертную. Я могу изготовить ее индивидуально для каждого человека со всевозможными гарантиями постоянства. Вечную? Это, собственно, ничего не значит. Но моя душа — душа моей конструкции — сможет пережить угасание солнца. Обледенение земли. Одарить душой я могу, как уже сказал, любого человека, но только живого. Мертвого одарить душой я не в состоянии. Это лежит за пределами моих возможностей. Живые — другое дело. Эти получают от профессора Декантора бессмертную душу. Не в подарок, разумеется. Это продукт сложной технологии, хитроумного и трудоемкого процесса, и будет стоить поэтому недешево. При массовом производстве цена бы снизилась, но пока душа гораздо дороже самолета. Принимая во внимание, что речь идет о вечности, полагаю, что эта цена относительно невысока. Я пришел к вам потому, что конструирование первой души полностью исчерпало мои средства. Предлагаю вам основать акционерное общество под названием «бессмертие», с тем чтобы вы финансировали предприятие, получив взамен, кроме контрольного пакета акций, сорок пять процентов чистой прибыли...

— Прошу извинения, — прервал его я, — вижу, что вы пришли ко мне с детально разработанным планом этого предприятия. Однако не соблаговолите ли вы сообщить мне сначала некоторые подробности о своем изобретении?

— Конечно, — ответил он. — Но пока мы не подпишем договора в присутствии нотариуса, господин Тихий, я смогу поделиться с вами лишь информацией общего характера. Дело в том, что в ходе своей работы над изобретением я настолько поиздержался, что у меня нет денег даже на уплату патентной пошлины.

— Хорошо. Мне понятна ваша осторожность, — сказал я, но все же вы, вероятно, догадываетесь, что ни я, ни любой другой финансист — впрочем, я никакой не финансист, короче говоря, никто не поверит вам на слово.

— Естественно, — сказал он, вынимая из кармана завернутый в белую бумагу пакет, плоский, как сигарная коробка на шесть сигар.

— Здесь находится душа... Одной особы, — сказал он.

— Можно узнать, чья? — спросил я.

— Да, — ответил он после минутного колебания. — Моей жены.

Я смотрел на перевязанную шнурком и опечатанную коробку с очень сильным недоверием, и все-таки под воздействием его энергичного и категорического тона испытал нечто вроде содрогания.

— Вы не открываете этого? — спросил я, видя, что он держит коробку в руке и не прикасается к печати.

— Нет, — сказал он. — Пока нет. Моя идея, господин Тихий, в крайнем упрощении, в таком, которое граничит с искажением истины, была такова. Что такое наше сознание? Когда вы смотрите на меня, в этот вот момент, сидя в удобном кресле, и ощущаете запах хорошей сигары, которую вы не сочли необходимым предложить мне, когда вы видите мою фигуру в свете этой экзотической лампы, когда вы колеблетесь, за кого меня принять: за мошенника, за сумасшедшего или за необычайного человека, когда, наконец, ваш взгляд улавливает все краски и тени окружающих предметов, а нервы и мускулы непрерывно посылают срочные телеграммы о своем состоянии в мозг, — все это вместе именно и составляет вашу душу, говоря языком теологов. Мы с вами сказали бы скорее, что это просто активное состояние вашего разума. Да, признаюсь, что я употребляю слово «душа» отчасти из упрямства, но важнее всего то, что это простое слово понятно всякому, или, скажем точнее, каждый думает, будто знает, о чем идет речь, когда слышит это слово.

Наша материалистическая точка зрения, понятно, превращает в фикцию существование не только души бессмертной, бестелесной, но также и такой, которая была бы не минутным состоянием вашей живой индивидуальности, но некоей неизменной, вневременной и вечной сущностью, — такой души, вы со мной согласитесь, никогда не было, никто из нас ею не обладает. Душа юноши и душа старца хотя бы сохраняют идентичные черты, если речь идет об одном и том же человеке, а дальше: душа его в те времена, когда он был ребенком, и в ту минуту, когда смертельно больной, он чувствует приближение агонии, — эти состояния духа чрезвычайно различны. Каждый раз, когда все же говорят о чьей-то душе, инстинктивно подразумевают психическое состояние человека в зрелом возрасте с отличным здоровьем — понятно, что именно это состояние я избрал для своей цели, и моя синтетическая душа представляет собой раз навсегда зафиксированный отпечаток сознания нормального, полного сил индивидуума на каком-то отрезке времени.

Как я это делаю? В субстанции, идеально для этого подходящей, воссоздаю с высочайшей, предельной точностью, атом за атомом, вибрацию за вибрацией, конфигурацию живого мозга. Копия это уменьшенная, в масштабе один к пятнадцати. Поэтому коробка, которую вы видите, такая маленькая. Приложив немного усилий, можно было бы еще уменьшить размеры души, но я не вижу для этого никакой разумной причины, стоимость же производства при этом возросла бы неимоверно. Итак, в этом материале запечатлена душа; это не модель, не мертвая застывшая сеть нервных волокон... Как случилось у меня поначалу, когда я еще производил эксперименты на животных. Здесь скрывалась самая большая и, в сущности, единственная трудность. Дело

ведь заключалось в том, чтобы в этой субстанции было сохранено сознание живое, чувствующее, способное к свободнейшему мышлению, к снам и яви, к своеобразнейшей игре фантазии, вечно изменяющееся, вечно чувствительное к ходу времени и чтобы одновременно оно не старело, чтобы материал не подвергался действию усталости, не трескался, не крошился — было время, господин Тихий, когда эта задача казалась мне такой же неразрешимой, какой, наверное, кажется она вам и сейчас, и единственным моим козырем было упрямство. Ибо я очень упрям, господин Тихий. Поэтому мне и удалось добиться своего...

— Погодите, — прервал я, чувствуя, что в голове у меня хаос. — Значит как вы сказали?.. Здесь, в этой коробке, находится некий материальный предмет, так? Который заключает в себе сознание живого человека? А каким же образом он может общаться с внешним миром? Видеть его? Слышать и... Я замолчал, потому что на лице Декантора появилась неопишущая усмешка. Он смотрел на меня прищуренным зеленым глазом.

— Господин Тихий, — сказал он, — вы ничего не понимаете... Какое общение, какие контакты могут возникать между партнерами, если удел одного из них — вечность? Ведь не позже, чем через пятнадцать миллиардов лет, человечество перестанет существовать, кого же тогда будет слышать, к кому будет обращаться эта... Бессмертная душа? Разве вы не слушали меня, когда я говорил, что она вечна? Время, которое пройдет до момента, когда земля обледенеет, когда самые большие и самые молодые из нынешних звезд рассыплются, когда законы, управляющие космосом, изменятся настолько, что он станет уже чем-то совершенно иным, невообразимым для нас, — это время не составляет и ничтожной части ее существования, поскольку она будет существовать вечно. Религии совершенно разумно умалчивают о теле, ибо чему могут служить нос или ноги в вечности? Зачем они после того, как исчезнут цветы и земля, после того как погаснет солнце? Но оставим этот тривиальный аспект проблемы. Вы сказали «общение с миром». Даже если б эта душа общалась с миром лишь раз в сто лет, то спустя миллиард веков она должна была бы, чтоб вместить в своей памяти воспоминания об этих контактах, приобрести размеры материка... А спустя триллион веков и размеры земного шара оказались бы недостаточными, — но что такое триллион по сравнению с вечностью? Однако не эта техническая трудность удержала меня, а психологические последствия. Ведь мыслящая личность, живое «я» человека растворилось бы в этом океане памяти, как капля крови растворяется в море, и что случилось бы тогда с гарантированным бессмертием?..

— Как... — пробормотал я, — значит, вы утверждаете, что... Вы говорите... Что наступает полная изоляция?..

— Естественно. Разве я сказал, что в этой коробке весь человек? Я говорил только о душе. Вообразите себе, что с этой секунды вы перестаете получать всякую информацию извне, как будто ваш мозг отделен от тела, но продолжает существовать во всей полноте жизненных сил. Вы станете, разумеется, слепым и глухим, в известном смысле также парализованным, поскольку уже не будете иметь в своем распоряжении тела, однако целиком сохраните внутреннее зрение, то есть ясность разума, полет мысли, вы сможете свободно мыслить, развивать и формировать воображение, переживать надежды, печали, радости, вызванные преходящими изменениями душевного состояния, — именно это все дано душе, которую я кладу на ваш стол...

— Это ужасно... — сказал я. — Слепой, глухой, парализованный... На века.

— Навеки, — поправил он меня. — Я сказал уже столько, господин Тихий, что могу добавить только одно. Сердцевина тут — кристалл, особый вид, не существующий в природе, инертная субстанция, не вступающая ни в какие химические соединения... В ее непрерывно вибрирующих молекулах и заключена душа, которая чувствует и мыслит...

— Чудовище, — произнес я тихо и спокойно, — отдаете ли вы себе отчет в том, что вы сделали? А впрочем, — я вдруг успокоился, ведь сознание человека не может быть повторено. Если ваша жена живет, ходит, думает, то в этом кристалле заключена самое большее лишь некая копия ее души...

— Нет, — возразил Декантор, косясь на белый пакетик. Должен добавить, господин Тихий, что вы совершенно правы. Невозможно создать душу кого-то живущего. Это была бы бессмыслица, парадоксальный абсурд. Тот, кто существует, существует, ясное дело, лишь один раз. Продолжение можно создать лишь в момент смерти. Впрочем изучая детально строение мозга человека, которому надо изготовить душу, все равно разрушаешь этот живой мозг...

— Послушайте... — прошептал я. — Вы... Убили свою жену?

— Я дал ей вечную жизнь, — отвечал он, выпрямляясь. Впрочем, это не имеет никакого отношения к делу, которое мы обсуждаем. Если хотите, это дело между моей женой, — он положил ладонь на пакетик, — и мной, судом и полицией. Поговорим о чем-либо ином.

Долго я не мог произнести ни слова. Протянул руку и кончиками пальцев коснулся коробки, завернутой в толстую бумагу; она была тяжелая, словно отлитая из свинца.

— Ладно, — сказал я, — пусть будет так. Поговорим о чем-либо ином. Предположим, я дам вам средства, которых вы добиваетесь. Неужели вы вправду настолько безумны, чтобы полагать, будто хоть один человек разрешит себя убить только для того, чтоб его душа до скончания веков терпела невообразимые муки — лишенная даже возможности самоубийства?!

— Со смертью действительно есть определенные трудности, — согласился после непродолжительного раздумья Декантор. Я заметил, что его темный глаз скорее ореховый, чем карий. Но ведь можно для начала рассчитывать на такие категории людей, как неизлечимо больные, как утомленные жизнью, как старцы, дряхлые физически, но ощущающие полноту духовных сил...

— Смерть не самый худший выход по сравнению с бессмертием, которое вы предлагаете, — пробормотал я.

Декантор снова усмехнулся.

— Скажу нечто такое, что вам, возможно, покажется забавным, — сказал он. Правая сторона его лица была серьезной. — Я сам никогда не испытываю ни потребности обладать душой, ни потребности существовать вечно. Но ведь человечество живет этой мечтой тысячи лет. Я долго изучал этот вопрос, господин Тихий. Все религии держались на одном: они обещали вечную жизнь, надежду существовать за могилой. Я даю это. Даю вечную жизнь. Даю уверенность в существовании и тогда, когда последняя частичка тела сгниет и превратится в прах. Разве этого мало?

— Да, — ответил я, — этого мало. Ведь вы сами говорили, что это будет бессмертие, лишенное тела, его сил, его наслаждений, его живого опыта...

— Не повторяйтесь, — прервал он меня. — Я могу представить вам священные книги всех религий, труды философов, песни поэтов, молитвы, легенды — я не нашел в них ни слова о вечности тела. Телом пренебрегают, его даже презирают. Душа — ее существование в безграничности — была целью и надеждой. Душа как противоположность и противопоставление телу. Как свобода от физических страданий, от внезапных опасностей, от болезней, старческого увядания, от борьбы за все, чего при своем медленном горении и угасании требует постепенно разрушающаяся печь, именуемая организмом; никто никогда не провозглашал бессмертия тела. Только душу надо было сохранить и спасти. Я, Декантор, спас ее для вечности, навеки. Я осуществил мечту — не мою. Мечту всего человечества...

— Понимаю, — прервал я его. — Декантор, в некотором смысле вы правы. Но лишь в том смысле, что своим изобретением вы наглядно показали — сегодня мне, завтра, быть может, всему миру — ненужность души. Показали, что бессмертие, о котором говорят священные книги, евангелия, кораны, вавилонские эпосы, веды и предания, что такое бессмертие человеку ни к чему. Больше того: каждый человек пред лицом вечности, которой вы готовы его одарить, будет чувствовать, уверяю вас, то же, что и я, — крайнее отвращение и страх. Мысль о том, что бессмертие, которое вы обещаете, может стать моим уделом, приводит меня в ужас. Итак, Декантор, вы доказали, что человечество тысячи лет обманывало себя. Вы развеяли эту ложь...

— Так вы думаете, что моя душа никому не будет нужна? Спокойным, но внезапно помертвевшим голосом спросил этот человек.

— Я уверен в этом. Ручаюсь вам... Как вы можете думать иначе? Декантор! Неужели вы сами желали бы этого? Ведь вы тоже человек!

— Я уже говорил вам. Сам я никогда не испытывал потребности в бессмертии. Но я полагал, что составляю в этом отношении исключение, раз человечество думает иначе. Я хотел успокоить человечество, не себя. Я искал проблему, самую трудную из всех, в меру моих сил. Я нашел ее и разрешил. В этом смысле она была моим личным делом, но только в этом; по существу она интересовала меня только как определенная задача, которую требовалось разрешить, используя соответствующую технологию и средства. Я принял за чистую монету то, о чем писали величайшие мыслители всех времен. Тихий, ведь вы же об этом читали... Об этом страхе перед исчезновением, перед концом, перед гибелью сознания тогда, когда оно наиболее богато, когда готово особенно плодотворно творить... При конце долгой жизни... Все это твердили. Мечтой всех было общаться с вечностью. Я создал возможность такого общения. Тихий, может, они?.. Может выдающиеся личности? Гении?

Я покачал головой.

— Можете попробовать. Но я не верю, чтобы хоть один... Нет. Это невозможно.

— Как, — сказал он, и впервые в его голосе дрогнуло какое-то живое чувство, — неужели вы полагаете, что это... Ни для кого не представляет ценности?.. Что никто этого не захочет? Может ли такое быть?!

— Так оно и есть, — отвечал я.

— Не отвечайте так поспешно, — молил он. — Тихий, ведь все еще в моих руках. Я могу приспособить, изменить... Могу снабдить душу синтетическими чувствами... Правда, это лишит ее возможности существовать вечно, но если для людей важнее чувства... Уши... Глаза...

— А что видели бы эти глаза? — спросил я.

Он молчал.

— Обледенение земли... Распад галактик... Угасание звезд в черной бесконечности, да?
— медленно спросил я.

Он молчал.

— Люди не жаждут бессмертия, — продолжал я, мгновение спустя. — Они просто не хотят умирать. Они хотят жить, профессор Декантор. Хотят чувствовать землю под ногами, видеть облака над головой, любить других людей, быть с ними и думать о них. И ничего больше. Все, что утверждалось сверх этого, — ложь. Бессознательная ложь. Сомневаюсь, захотят ли иные даже выслушать вас так терпеливо, как я... Не говоря уж о... Желающих...

Несколько минут Декантор стоял неподвижно, уставившись на белый пакет, который лежал перед ним на столе. Вдруг он взял его и слегка кивнув мне, направился к двери.

— Декантор!!! — крикнул я.

Он задержался у порога.

— Что вы собираетесь сделать с этим?..

— Ничего, — холодно ответил он.

— Прошу вас... Вернитесь. Минуточку... Этого нельзя так оставить...

Господа, не знаю, был ли он большим ученым, но большим мерзавцем он был наверняка. Не хочу описывать торга, который у меня с ним начался. Я должен был это сделать. Знал, что если позволю ему уйти, то пускай даже потом я пойму, что он разыграл меня и все, что он говорил, было от начала до конца вымышлено, — все же в глубине моей души... В глубине моей телесной полнокровной души будет тлеть мысль о том, что где-то в заваленном хламом столе, в набитом ненужными бумагами ящике заточен человеческий разум, живое сознание этой несчастной женщины, которую он убил. И, словно этого мало, одарил ее самым ужасным даром из всех возможных, повторяю, самым ужасным, ибо нельзя представить себе ничего худшего, чем приговор к вечному одиночеству. Попробуйте, пожалуйста, когда вернетесь домой, лечь в темной комнате, чтобы до вас не доходило ни единого звука, ни единого луча света и, закрыв глаза, вообразите, что будете пребывать так, в окончательном спокойствии, день и ночь, и снова день, что так будут проходить недели, счет которым вы не сможете вести, месяцы, годы и века, причем с вашим мозгом предварительно проделают такую процедуру, которая лишит вас даже возможности спастись в безумии. Одна мысль о том, что существует кто-то, обреченный на такую муку, в сравнении с которой картины адских мучений всего лишь детская забава, жгла меня во время этого мрачного торга. Речь шла, разумеется, об уничтожении

кристалла; сумма, которую он потребовал... Впрочем, подробности ни к чему. Скажу только: всю жизнь я считал себя скупцом. Если теперь я сомневаюсь в этом, то потому, что... Ну, ладно. Одним словом: это было все, что я тогда имел. Деньги... Да. Мы считали их... А потом он сказал, чтобы я выключил свет. И в темноте зашелестела разрываемая бумага, и вдруг на четырехугольном белесом фоне (это была подстилка из ваты) возник словно бы драгоценный камень; он слабо светился... По мере того как я привыкал к темноте, мне казалось, что он все сильнее излучает голубоватое сияние, и тогда, чувствуя за спиной неровное, прерывистое дыхание, я нагнулся, взял приготовленный заранее молоток и одним ударом...

Знаете, я думаю, что он все-таки говорил правду. Потому что, когда я ударил, рука у меня дрогнула, и я лишь слегка выщербил этот овальный кристалл... И тем не менее он погас. В какую-то долю секунды произошло нечто вроде микроскопического беззвучного взрыва — мириады фиолетовых пылинок закружились в вихре и исчезли. Стало совсем темно. И в этой темноте раздался мертвый глухой голос Декантора:

— Не надо больше, Тихий... Все кончено.

Он взял это у меня из рук, и тогда я поверил, потому что имел наглядное доказательство, да в конце концов чувствовал это. Не могу объяснить, как. Я щелкнул выключателем, мы посмотрели друг на друга, ослепленные ярким светом, как два преступника. Он набил карманы сюртука пачками банкнот и вышел, не сказав ни слова на прощание.

Больше никогда я не видел его, и не знаю, что с ним случилось — с этим изобретателем бессмертной души, которую я убил.

Человека, о котором буду рассказывать, я видел только один раз. Вы содрогнулись бы при его виде. Горбатый ублюдок неопределенного возраста; лицо его, казалось, было покрыто слишком просторной кожей — столько было на ней морщин и складок; к тому же мышцы шеи у него были сведены и голову он держал всегда набок, словно собрался рассмотреть собственный горб, но на полпути передумал. Я не скажу ничего нового, утверждая, что разум редко соединяется с красотой. Но он, сущее воплощение уродства, вместо жалости вызывающий отвращение, должен был бы оказаться гением, хоть и тогда ужасал бы одним своим появлением среди людей.

Так вот, Зазуль... Его звали Зазуль. Я много слышал о его ужасных экспериментах. Это было даже громкое дело в свое время благодаря прессе. Общество по борьбе с вивисекцией пыталось возбудить против него процесс или даже возбудило, но все обошлось. Как-то ему удалось выкрутиться. Он был профессором — чисто номинально, потому что преподавать он не мог: заикался. А точнее сказать — запинаясь, когда был взволнован; это с ним часто случалось.

Он не пришел ко мне. О, это был не такой человек. Он скорее умер бы, чем обратился бы к кому-нибудь. Попросту во время прогулки за городом я заблудился в лесу, и это даже доставило мне удовольствие, но вдруг хлынул дождь. Я хотел переждать под деревом, однако дождь не утихал. Небо сильно нахмурилось, я понял, что надо поискать какого-нибудь убежища и, перебегая от дерева к дереву, изрядно промокший, выбрался на усыпанную гравием тропинку, а по ней — на давно заброшенную, заросшую травой дорогу; дорога эта привела меня к усадьбе, окруженной высоким забором. На воротах, некогда выкрашенных в зеленый цвет, но сейчас ужасно проржавевших, висела деревянная дощечка с еле заметной надписью: «злые собаки». Я не горел желанием встретиться с разъяренными животными, но при таком ливне у меня иного выхода не

было; поэтому я срезал на ближайшем кусте солидный прут и, вооружившись им, атаковал ворота. Я говорю так потому, что лишь напрягши все силы, смог открыть ворота под аккомпанемент адского скрежета. Я очутился в саду, настолько запущенном, что с трудом можно было догадаться, где проходили когда-то тропинки. В глубине окруженный дрожащими под дождем деревьями стоял высокий темный дом с крутой крышей. Три окна на втором этаже светились, заслоненные белыми занавесями. Было еще рано, но по небу мчались все более темные тучи, и поэтому лишь в нескольких десятках шагов от дома я заметил два ряда деревьев, охранявших подход к веранде. Это были туи, кладбищенские туи, — я подумал, что у владельца дома характер, по — видимому, довольно мрачный. Никаких, однако, собак — вопреки надписи на воротах — я не обнаружил; поднявшись по ступенькам и кое-как укрывшись от дождя под выступающей притолокой, я нажал кнопку звонка. Он задребезжал где-то внутри — ответом была глухая тишина; основательно помедлив, я позвонил еще раз — с таким же результатом, так что я стал стучать, потом колотить в дверь все сильнее и сильнее; лишь тогда в глубине дома послышались шаркающие шаги, и неприятный, скрипучий голос спросил:

— Кто там?

Я сказал. Свою фамилию я произносил со слабой надеждой, что, может, здесь ее слышали. За дверью будто раздумывали, наконец брякнула цепочка, загрохотали засовы, совсем как в крепости, и при свете висящего высоко на стене канделябра показался чуть ли не карлик. Я узнал его, хоть видел лишь раз в жизни, не помню даже где, его фотографию; трудно было, однако, его забыть. Он был почти совершенно лысый. По черепу, над ухом, проходил ярко-красный шрам — как после удара саблей. На носу у него криво сидели золотые очки. Он моргал, словно вышел из темноты. Я извинился перед ним, прибегая к обычным в таких обстоятельствах выражениям, и замолчал, а он по-прежнему стоял передо мной, будто не имел ни малейшего желания впустить меня хоть на шаг дальше в этот большой темный дом, из глубины которого не слышалось ни малейшего шороха.

— Вы Зазуль, профессор Зазуль... правда? — сказал я.

— Откуда вы меня знаете? — пробурчал он нелюбезно.

Я снова произнес что-то банальное, в том смысле, что трудно не знать такого выдающегося ученого. Он выслушал это, презрительно скривив лягушачьи губы.

— Гроза? — переспросил он, возвращаясь к словам, произнесенным мной раньше. — Слышу, что гроза. Что ж из того? Вы могли пойти еще куда-нибудь. Я этого не люблю. Не выношу, понимаете?

Я сказал, что превосходно его понимаю и совершенно не имею намерения ему мешать. С меня хватит стула или табурета здесь, в этом темном холле; я пережду, пока гроза хоть немного стихнет, и уйду.

А дождь действительно разошелся всюду лишь теперь и, стоя в этом темном высоком холле, как на дне гигантской раковины, я слышал его протяжный, со всех сторон плывущий шум — он возрастал над нашими головами от оглушительного грохота жестяной крыши.

— Стул?! — сказал Зазуль таким тоном, будто я потребовал золотой трон. — Стул, действительно! У меня нет для вас никакого стула, Тихий! Я... у меня нет свободного

стула. Я не терплю... и вообще полагаю, да полагаю, что лучше всего будет для нас обоих, если вы уйдете.

Я невольно глянул через плечо в сад — входная дверь была еще открыта. Деревья, кусты — все смешалось в сплошную бурно колышущуюся под ветром массу, которая блестела в потоках воды. Я перевел взгляд на горбуна. Мне приходилось сталкиваться с невежливостью, даже с грубостью, но ничего подобного я никогда не видел. Лило как из ведра, крыша протяжно грохотала, словно стихии хотели таким образом утвердить меня в решимости; это было, впрочем, лишним, ибо мой пылкий нрав начал уже восставать. Попросту говоря, я был зол, как черт. Отбросив всякие церемонии и правила хорошего тона, я сухо сказал:

— Я уйду лишь, если вы сможете вышвырнуть меня силой, а должен сообщить, что не принадлежу к слабым созданиям.

— Что?! — крикнул он пискливо. — Нахал! Как вы смеете, в моем собственном доме!

— Вы сами спровоцировали меня, — ледяным тоном отвечал я. И, поскольку я был уже взвинчен, а его назойливо сверлящий уши визг окончательно вывел меня из равновесия, добавил: — Есть поступки, Зазуль, за которые рискуешь быть избитым даже в собственном доме!

— Ты мерзавец! — завизжал он еще громче.

Я схватил его за плечо, которое показалось мне словно выструганным из трухлявого дерева, и прошипел:

— Не выношу крика. Понятно? Еще одно оскорбление, и вы запомните меня до конца жизни, грубиян вы этакий!

Секунду-две я думал, что дело действительно дойдет до драки, и устыдился — как же мог бы я поднять руку на горбуна! Но произошло то, чего я меньше всего на свете ожидал. Профессор попятился, освобождая плечо от моей хватки, и с головой, склоненной еще больше, словно он хотел увериться, цел ли у него еще горб, начал отвратительно, фальцетом хохотать, будто я угостил его тонкой остротой.

— Ну, ну, — сказал он, снимая очки, — решительный у вас характер, Тихий...

Концом длинного, желтого от никотина пальца он вытер слезу в уголке глаза.

— Ну, ладно, — хрипло проворковал он, — это я люблю. Да, это, могу сказать, я люблю. Не выношу только ханжеских манер, этакой слащавости и фальшивых любезностей, а вы сказали то, что думали. Я не выношу вас, вы не выносите меня, превосходно, мы равны, все ясно, и вы можете следовать за мной. Да, да, Тихий, вы почти ошеломили меня. Меня, ну, ну...

Кудахча еще что-то в этом роде, он повел меня наверх по скрипящей деревянной лестнице, потемневшей от старости. Лестница эта спиралью окружала квадратный холл, огромный, с голыми панелями; я молчал, а Зазуль, когда мы оказались на втором этаже, сказал:

— Тихий, ничего не поделаешь, я не в состоянии иметь гостиную, салон, вам придется увидеть все; да, я сплю среди моих экспонатов, ем с ними, живу... Входите, только не говорите слишком много.

Он ввел меня в освещенную комнату с окнами, закрытыми большими листами бумаги, некогда белой, а теперь чрезвычайно грязной и покрытой пятнами жира. Она буквально кишела раздавленными мухами; на подоконниках тоже было черно от мушиных трупов, да и на дверях, закрывая их, я заметил засохшие, окровавленные останки насекомых, будто Зазуля осаждали тут все перепончатокрылые существа в мире; прежде, чем это успело меня поразить, я обратил внимание на другие особенности помещения. Посредине находился стол, вернее два стояка с лежащими на них простыми, еле обструганными досками; он был завален целыми грудями книг, бумаг, пожелтевших костей. Однако самой большой достопримечательностью комнаты были ее стены. На больших, наспех сколоченных стеллажах стояли рядами бутылки и банки из толстого стекла, а напротив окна, там, где эти стеллажи расступались, в просвете между ними, высился огромный стеклянный резервуар, похожий на аквариум величиной со шкаф или, скорее, на прозрачный саркофаг. Верхняя его часть была прикрыта небрежно наброшенной грязной тряпкой, изодранные края которой доставали примерно до половины стеклянных стенок, но хватало того, что виднелось в нижней, неприкрытой части, чтобы я замер. Во всех банках и бутылках синела слегка мутноватая жидкость — словно я находился в каком-нибудь анатомическом музее, где хранятся полученные после вскрытия некогда живые органы, законсервированные в спирте. Таким же, только огромных размеров сосудом был этот стеклянный резервуар, прикрытый сверху тряпкой. В его мрачной глубине, освещаемой синеватыми проблесками, необычайно медленно, как бесконечно терпеливый маятник, раскачивались, не касаясь дна, вися в нескольких сантиметрах от него, две тени, в которых с невыразимым ужасом и отвращением я узнал человеческие ноги в набухших от денатурата мокрых брюках...

Я окаменел, а Зазуль не шевелился, я не ощущал вообще его присутствия; когда я повел глазами на него, то увидел, что он очень рад. Мое отвращение, мой ужас забавляли его. Руки его были прижаты к груди, как для молитвы, он удовлетворенно покашливал.

— Что это значит, Зазуль! — проговорил я сдавленным голосом. — Что это?!

Он повернулся ко мне спиной, его горб, ужасный и острый, — глядя на него, я инстинктивно опасался, что лопнет обтянувший его пиджак, — слегка колыхался в такт его шагам. Усевшись в кресле со странной, раздвинутой в стороны спинкой (ужасна была эта мебель горбуна), он вдруг сказал, будто равнодушным, даже скучающим тоном:

— Это целая история, Тихий. Вы хотели переждать грозу? Сядьте где-нибудь и не мешайте мне. Не вижу причин, по которым я был бы обязан вам что-либо рассказывать.

— Но я их вижу, — отвечал я.

До некоторой степени я уже овладел собой. Под аккомпанемент шума и плеска дождя я подошел к нему и сказал:

— Если вы не объясните мне всего этого, Зазуль, я буду вынужден предпринять шаги... которые принесут вам немало хлопот.

Я думал, что Зазуль взорвется, но он даже не дрогнул. С минуту он смотрел на меня, насмешливо поджав губы.

— Скажите-ка сами, Тихий, как это выглядит? Гроза, ливень, вы врываетесь ко мне, лезете непрошенный, угрожаете, что избьете меня, а потом, когда я по врожденной мягкости уступаю, когда я стараюсь вам угодить, то имею честь слышать новые угрозы: после избияния вы грозите мне тюрьмой. Я ученый, милостивый государь, а не бандит. Я не боюсь тюрьмы, вас, вообще ничего не боюсь, Тихий.

— Ведь это человек, — сказал я, почти не слушая его болтовни, явно издевательской: ясно, что он умышленно привел меня сюда, чтоб я смог сделать это отвратительное открытие. Я смотрел вверх его головы на эту страшную двойную тень, которая продолжала тихо раскачиваться в глубине синей жидкости.

— Как нельзя больше, — охотно согласился Зазуль, — как нельзя больше.

— О, вы не увиливайте! — вскричал я.

Он наблюдал за мной, вдруг что-то с ним начало твориться: он затрясся, застонал — и волосы у меня стали дыбом. Он хохотал.

— Тихий, — произнес он, немного успокоившись, хотя искорки адского злорадства все еще прыгали в его глазах, — хотите?.. побьемся об заклад. Я расскажу вам, как дошло до этого, там, — он показал пальцем, — и вы тогда волоса на моей голове не захотите тронуть. Добровольно, не по принуждению, разумеется. Ну как, по рукам?

— Вы его убили? — спросил я.

— В известном смысле — да. Во всяком случае, я засадил его туда. Вы думаете, что можно жить в девяностошестипроцентном растворе денатурата? Что, есть еще надежда?

Это его спокойное, будто заранее запланированное бахвальство, самоуверенное издевательство перед останками жертвы заставило меня сдержаться.

— Бьюсь об заклад, — холодно сказал я. — Говорите!

— Вы уж меня не подгоняйте, — сказал он таким тоном, словно был князем, любезно согласившимся уделить мне аудиенцию. — Я расскажу потому, что это меня забавляет, Тихий, потому, что это веселая история, и, повторяя ее, я получу удовольствие, а не потому, что вы мне грозили. Я не боюсь угроз, Тихий. Но оставим это. Тихий, вы слышали о Малленегсе?

— Да, — ответил я, уже основательно успокоившись. В конце концов во мне есть что-то от исследователя, и я знаю, когда нужно сохранять хладнокровие. — Он опубликовал несколько работ о денатурировании белковых частиц...

— Превосходно, — заявил он поистине профессорским тоном и поглядел на меня с интересом, будто, наконец, открыл во мне черту, которая заслуживает хоть тени уважения. — Но, кроме этого, он разработал метод синтеза больших молекул белка, искусственных белковых растворов, которые жили, заметьте. Это были такие клейкие желе... он обожал их. Ежедневно он кормил их, так сказать... Да, сыпал им сахар, углеводороды, а они, эти желе, эти бесформенные праамебы, поглощали все, так что любо смотреть, и росли себе, сначала в маленьких стеклянных чашках Петри... Он перемещал их в сосуды побольше... нянчился с ними, всю лабораторию загромоздил ими... Они у

него подышали, начинали разлагаться, думаю от неправильной диеты, тогда он неистовствовал... Носился, размахивая бородой, которой вечно попадал в свой любимый клей... Но большего он не достиг... Ну, он был слишком глуп, надо было иметь побольше... здесь, — он коснулся пальцем лысины, которая блестела под низко опущенной на проводе лампой, как выточенная из слоновой кости. А потом за дело взялся я. Не буду много рассказывать, это интересно лишь специалистам; а те, кто по-настоящему могли бы понять величие сделанного мною, еще не родились... Короче говоря, я создал белковую макромолекулу, которую можно так же установить на определенный тип развития, как устанавливают на определенный час стрелки будильника... нет, это неподходящий пример. Об однойцевых близнецах вы, разумеется, знаете?

— Да, — отвечал я, — но какое это имеет отношение...

— Сейчас вы поймете. Оплодотворенное яйцо делится на две идентичные половинки, из которых появляются два совершенно тождественных индивидуума, двое новорожденных, два зеркальных близнеца. Так вот вообразите теперь себе, что существует способ, с помощью которого можно, имея взрослого живого человека, на основе тщательного исследования его организма создать вторую половинку яйца, из которого он некогда родился. Тем самым можно, некоторым образом, с многолетним опозданием доделать этому человеку близнеца... Вы внимательно слушаете?..

— Как же это... — сказал я. — Ведь даже если б это было возможно, вы получите только половинку яйца — зародыш, который немедленно погибнет...

— Может, у других, но не у меня, — отвечал он с равнодушной гордостью. — Эту созданную синтетическим путем половинку яйца, установленную на определенный тип развития, я помещаю в искусственный питательный раствор, и там, в инкубаторе, словно в механической матке, вызываю ее превращение в плод — в темпе, стократно более быстром, чем нормальная скорость развития плода. Спустя три недели зародыш превращается в ребенка; под воздействием дальнейших процедур этот ребенок спустя год насчитывает десять биологических лет; еще через четыре года это уже сорокалетний человек — ну, вот именно это я и сделал, Тихий...

— Гомункулус! — вскричал я. — Это мечта средневековых алхимиков... понимаю... Вы утверждаете — но даже если б так было! Вы создали человека, да?! И вы думаете, что имели право его убить?! И что я буду свидетелем этого преступления? О, вы глубоко ошиблись, Зазуль...

— Это еще не все, — холодно произнес Зазуль. Казалось, его голова вырастает прямо из бесформенной глыбы горба. Сначала, понятное дело, эксперименты проводились на животных. Там, в банках, заспиртовано по паре кошек, кроликов, собак — в сосудах с белой этикеткой находятся создания подлинные, настоящие... В других, с черной этикеткой созданные мною копии, близнецы... Разницы между ними нет никакой, и, если убрать этикетки, невозможно будет установить, какое животное появилось на свет естественным способом, родилось, а какое происходит из моей реторты...

— Хорошо, — сказал я, — пусть будет так... Но зачем вы его убили? Почему? Может, он был... умственно неполноценным? недоразвитым? Даже и в этом случае вы не имели права...

— Прошу не оскорблять меня! — шикнул Зазуль. — Полнота духовных сил, Тихий, полнота развития, абсолютно точно повторявшая все черты подлинника в пределах сомы... Но, с точки зрения психики, заложенные в него возможности были больше тех, которые обнаруживал его биологический прототип... Да, это нечто большее, чем создание близнеца... Это копия более точная, чем близнец... Профессор Зазуль превзошел природу. Превзошел, понимаете?!

Я молчал, а он встал, подошел к резервуару, приподнялся на цыпочки и одним движением сдернул рваную завесу. Я не хотел смотреть, но голова сама повернулась в ту сторону, и я увидел сквозь стекло, сквозь слой помутневшего спирта обмякшее, сморщившееся от воды лицо Зазуля... его огромный горб, плавающий будто тюк... полы пиджака, колеблющиеся в жидкости, как черные промокшие крылья... белесое свечение глазных яблок... мокрые, седые, слипшиеся пряди бородки... И замер, как пораженный громом, а он скрипел:

— Как можно догадаться, речь шла о том, чтобы достижение Зазуля было непреходящим. Человек, даже созданный искусственно, смертен, — надо было чтобы он существовал, чтоб не распался в прах, чтоб остался памятником... Да, об этом шла речь. Однако — вам следует об этом знать, Тихий — между мной и ним возникла существенная разница во мнениях, и в результате этого не я... А он попал в банку со спиртом... Он... он, профессор Зазуль. А я, я — именно я и есть...

Он захохотал, но я не слышал этого. Я чувствовал, будто падаю в какую-то бездну. Я переводил взгляд с его живого, искаженного высочайшей радостью лица на то лицо, мертвое, плавающее за стеклянной стеной, словно какое-то ужасное подводное создание... и не мог разжать губ. Было тихо. Дождь почти прошел, только, словно отлетая с порывами ветра, затихало и вновь возникало замирающее похоронное пение водосточных труб.

— Выпустите меня, — сказал я и не узнал собственного голоса.

Я закрыл глаза и повторил глухо:

— Выпустите меня, Зазуль, вы выиграли.

Осенним предвечерем, когда сумерки уже спускались на улицы и шел монотонный, мелкий, серый дождь, от которого воспоминание о солнце становится чем-то почти невероятным, и ни за какие блага не хочется покинуть место у камелька, где сидишь, погрузившись в старые книги (ища в них не содержание, хорошо знакомое, а самого себя — каким ты был много лет назад), кто-то вдруг постучал в мою дверь. Стук был торопливым, словно посетитель, даже не коснувшись звонка, хотел сразу дать понять, что его визит продиктован нетерпением, я сказал бы даже — отчаянием. Отложив книгу, я вышел в коридор и открыл дверь. Передо мной стоял человек в клеенчатом плаще, с которого стекала вода; лицо его, искаженное страшной усталостью, поблескивало от капель дождя. Он даже не смотрел на меня — так был измучен. Обеими руками, покрасневшими и мокрыми, он опирался о большой ящик, который по-видимому, сам втащил по лестнице на второй этаж.

— Ну, — сказал я, — что вам... — И поправился: — Вам нужна моя помощь?

Тяжело дыша, он сделал какой-то неопределенный жест рукой; я понял, что он хотел бы внести свой груз в комнату, но у него уже нет сил. Тогда я взялся за мокрую, жесткую

бечевку, которой был обвязан ящик, и внес его в коридор. Когда я обернулся, он уже стоял рядом. Я показал ему вешалку, он повесил плащ, бросил на полку шляпу, насквозь промокшую, похожую на бесформенный кусок фетра, и, не очень уверенно ступая, вошел в мой кабинет.

— Чем могу вам служить? — спросил я его после продолжительного молчания. Я уже догадывался, что это еще один из моих необыкновенных гостей, а он, все не глядя на меня, будто занятый своими мыслями, вытирал лицо носовым платком и вздрагивал от холодного прикосновения промокших манжет рубашки. Я сказал, чтоб он сел у камина, но он не соизволил даже ответить. Схватился за этот самый мокрый ящик, тянул его, толкал, переворачивал с ребра на ребро, оставляя на полу грязные следы, которые свидетельствовали о том, что во время своего неведомого странствия он вынужден был много раз ставить свою ношу на залитые лужами тротуары, чтобы перевести дух. Только когда ящик очутился на середине комнаты и пришелец мог не сводить с него глаз, он будто осознал мое присутствие, посмотрел на меня, пробормотал что-то невнятное, кивнул головой, преувеличенно большими шагами подошел к пустому креслу и погрузился в его уютную глубину.

Я уселся напротив. Мы молчали довольно долго, однако по необъяснимой причине это выглядело вполне естественно. Он был немолод, пожалуй, около пятидесяти. Лицо его привлекало внимание тем, что вся левая половина была меньше, словно не поспевала в росте за правой; угол рта, ноздря, глазная щель были с левой стороны меньше, и поэтому на лице его навсегда запечатлелось выражение удрученного изумления.

— Вы Тихий? — спросил он наконец, когда я этого меньше всего ожидал. Я кивнул головой. — Ийон Тихий? Тот... путешественник? — уточнил он, еще раз наклонившись вперед. Он смотрел на меня недоверчиво.

— Ну, да, — подтвердил я. — Кто же еще мог бы находиться в моей квартире?

— Я мог ошибиться этажом, — буркнул он, будто занятый чем-то другим, гораздо более важным.

Неожиданно он встал. Инстинктивно коснулся сюртука, хотел было его разгладить, но, словно поняв тщетность этого намерения — не знаю, смогли ли помочь его изношенной до крайности одежде самые лучшие утюги и портновские процедуры — выпрямился и сказал:

— Я физик. Моя фамилия — Мольтерис. Вы обо мне слышали?

— Нет, — сказал я. Действительно, я никогда о нем не слышал.

— Это не имеет значения, — пробормотал он, обращаясь скорее к себе, чем ко мне.

Он казался угрюмым, но это была задумчивость: он обдумывал про себя какое-то решение, ранее принятое и послужившее причиной этого визита, ибо сейчас им вновь овладело сомнение. Я чувствовал это по его взглядам исподтишка. У меня было впечатление, что он ненавидит меня — за то, что хочет, что вынужден мне сказать.

— Я сделал открытие, — бросил он внезапно охрипшим голосом. — Изобретение. Такого еще не было. Никогда. Вы не обязаны мне верить. Я не верю никому, значит, нет нужды,

чтобы мне кто-либо верил. Достаточно будет фактов. Я докажу вам это. Все. Но... я еще не совсем...

— Вы опасаетесь? — подсказал я благожелательным и успокаивающим тоном. Ведь это же все сумасбродные дети, безумные, гениальные дети — эти люди. — Вы боитесь кражи, обмана, да? Можете быть спокойны. Стены этой комнаты видели и слышали об изобретениях...

— Но не о таком!!! — решительно вскричал он, и в его голосе и блеске глаз на мгновение проступила невообразимая гордость. Можно было подумать, что он — творец вселенной. Дайте мне какие-нибудь ножницы, — произнес он хмуро, в новом приливе угнетенности.

Я подал ему лежавший на столе нож для разрезания бумаги. Он перерезал резкими и размашистыми движениями бечевку, разорвал оберточную бумагу, швырнул ее, смятую и мокрую, на пол с намеренной, пожалуй, небрежностью, словно говоря: «можешь вышвырнуть меня, изругав за то, что я пачкаю твой сверкающий паркет, — если у тебя хватит смелости выгнать такого человека, как я, принужденного так унижаться!». Я увидел ящик в форме почти правильного куба, сбитый из оструганных досок, покрытых черным лаком; крышка была только наполовину черная, наполовину же — зеленая, и мне пришло в голову, что ему не хватило лака одного цвета. Ящик был заперт замком с шифром. Мольтерис повернул диск, похожий на телефонный, заслонил его рукой и наклонившись так, чтобы я не мог увидеть сочетание цифр, а когда замок щелкнул, медленно и осторожно поднял крышку.

Из деликатности, а также не желая его спугнуть, я снова уселся на кресло. Я почувствовал — хоть он этого не показывал, — что Мольтерис был благодарен мне за это. Во всяком случае, он как будто несколько успокоился. Засунув руки вглубь ящика, он с огромным усилием — даже щеки и лоб у него налились кровью — вытащил оттуда большой черный аппарат с какими-то колпаками, лампами, проводами... Впрочем, я в таких вещах не разбираюсь. Держа свой груз в объятиях, словно любовницу, он бросил сдавленным голосом:

— Где... розетка?

— Там, — я указал ему угол рядом с библиотекой, потому что во второй розетке торчал шнур настольной лампы.

Он приблизился к книжным полкам и с величайшей осторожностью опустил тяжелый аппарат на пол. Затем размотал один из свернутых проводов и воткнул его в розетку. Присев на корточки у аппарата, он начал двигать рукоятки, нажимать на кнопки; вскоре комнату заполнил нежный певучий гул. Вдруг на лице Мольтериса изобразился страх; он приблизил глаза к одной из ламп, которая, в отличие от других, оставалась темной. Он слегка щелкнул ее пальцами, а увидев, что ничего не изменилось, порывисто выворачивая карманы, отыскал отвертку, кусок провода, какие-то металлические щипцы и, опустившись перед аппаратом на колени, принялся лихорадочно, хотя и с величайшей осторожностью, копаться в его внутренностях. Ослепшая лампа неожиданно заполнилась розовым свечением. Мольтерис, который, казалось, забыл где находится, с глубоким выдохом удовлетворения сунул инструменты в карман, встал и сказал совершенно спокойно, так, как говорят «сегодня я ел хлеб с маслом»:

— Тихий, это — машина времени.

Я не ответил. Не знаю, отдаете ли вы себе отчет в том, насколько щекотливо и трудно было мое положение. Изобретатели подобного рода, которые придумали эликсир вечной жизни, электронный предсказатель будущего или, как в этом случае, машину времени, сталкиваются с величайшим недоверием всех, кого пробуют посвятить в свою тайну. Психика их болезненна, у них много душевных царапин, они боятся других людей и одновременно презирают их, ибо знают, что обречены на их помощь; понимая это, я должен был соблюдать в такие минуты необычайную осторожность. Впрочем, что бы я ни сделал, все было бы плохо воспринято. Изобретателя, который ищет помощи, толкает на это отчаяние, а не надежда, и ожидает он не благожелательности, а насмешек. Впрочем, благожелательность — этому его научил опыт — является только введением, за которым, как правило, начинается пренебрежение, скрытое за уговорами, ибо, разумеется, его уже не раз и не два пробовали отговорить от этой идеи. Если б я сказал: «Ах, это необыкновенно, вы действительно изобрели машину времени?» — он, возможно, бросился бы на меня с кулаками. То, что я молчал, озадачило его.

— Да, — сказал он, вызывающе сунув руки в карманы, это машина времени. Машина для путешествий во времени, понимаете?!

Я кивнул головой, стараясь, чтобы это не выглядело преувеличенно.

Его натиск разбился о пустоту, он растерялся и мгновение стоял с весьма неумной миной. Лицо его было даже не старым, просто усталым, невыносимо измученным — налитые кровью глаза свидетельствовали о бесчисленных бессонных ночах, веки у него были припухшие, щетина, сбритая для такого случая, осталась около ушей и под нижней губой, указывая на то, что брился он быстро и нетерпеливо, говорил об этом и черный кружок пластыря на щеке.

— Вы ведь не физик, а?

— Нет.

— Тем лучше. Если б вы были физик, то не поверили бы мне, даже после того, что увидите собственными глазами, ибо это, — он показал на аппарат, который все еще тихонько мурлыкал, словно дремлющий кот (лампы его бросали на стену розоватый отблеск), — могло появиться лишь после того, как я начисто отбросил нагромождение idiotизмов, которые они считают сегодня физикой. Есть у вас какая-нибудь вещь, с которой вы могли бы без сожаления расстаться?

— Может, найду, — ответил я. Что это должно быть?

— Все равно. Камень, книжка, металлический предмет, лишь бы ничего радиоактивного. Ни следа радиоактивности, это важно. Это могло бы привести к катастрофе.

Он еще продолжал говорить, когда я встал и направился к письменному столу. Как вы знаете, я педант и для любой мелочи у меня есть постоянное место, а уж особое значение придаю я сохранению порядка в библиотеке; тем больше поразило меня событие, которое произошло накануне: я работал за письменным столом с самого завтрака, то есть с раннего утра, над введением, которое доставило мне много хлопот, и, подняв на мгновение голову от разложенных по всему столу бумаг, заметил в углу, у книжных полок темно-малиновую книжку формата in octavo ; она лежала на полу, словно ее кто-то там бросил.

Я встал и поднял ее. Я узнал обложку: это был оттиск статьи из ежеквартального журнала по космической медицине дипломная работа одного из моих довольно далеких знакомых... Я не понимал, каким образом она оказалась на полу. Правда, принимаясь за работу, я был погружен в свои мысли и не озирался особенно по сторонам, но мог бы поклясться, что когда я входил в комнату, на полу у стены ничего не лежало; это немедленно обратило бы мое внимание. Наконец, я все же счел, что углубился в мысли более обычного, поэтому на время перестал воспринимать окружающее — и лишь когда концентрация моей сосредоточенности уменьшилась, я ничего не видевшими до тех пор глазами заметил книгу на полу. Иначе нельзя было объяснить этот факт. Я поставил книгу на полку и забыл обо всем, но сейчас, после слов пришельца, малиновый корешок этой совершенно ненужной мне работы словно сам полез мне в руки, и я без слова подал ее Мольтерису.

Он взял ее, взвесил на ладони, даже не глядя на название, поднял черный колпак в центре аппарата и сказал:

— Пожалуйста, подойдите сюда...

Я стал рядом с ним. Он опустился на колени, покрутил круглую рукоятку, похожую на регулятор громкости у радиоприемника, и нажал вогнутую белую кнопку рядом с ней. Все лампы в комнате померкли; из розетки, куда была вставлена вилка провода от аппарата, вылетела с характерным пронзительным треском голуба искра, но больше ничего не произошло.

Я подумал, что сейчас он пережжет мне все предохранители, а он произнес хрипло:

— Внимание!

Мольтерис вложил книгу внутрь аппарата так, что она легла плашмя, и нажал выступавшую сбоку маленькую черную рукоятку. Свет ламп снова стал прежним, и одновременно с этим темный томик в картонном переплете на дне аппарата потускнел. На долю секунды он стал прозрачным, мне показалось, что сквозь обложку я вижу бледные контуры страниц и сливающиеся строчки печатного текста, но в следующий миг книга расплылась, исчезла, и я видел лишь пустое, черное оксидированное дно аппарата.

— Переместилась во времени, — сказал Мольтерис, не глядя на меня. Он грузно поднялся с пола. На его лбу поблескивали мелкие, как булавочные головки, капельки пота. — Или, если хотите, — омолодилась...

— На сколько? — спросил я.

От деловитости этого вопроса его лицо несколько посветлело. Левая, меньшая, словно высохшая сторона — она была и немного темнее, как я заметил вблизи — дрогнула.

— Примерно на сутки, — ответил он. — Точно я еще не могу вычислить. Впрочем... — Мольтерис вдруг замолк и посмотрел на меня. — Вы тут были вчера? — спросил он, не скрывая напряжения, с которым ждал моего ответа.

— Был, — медленно произнес я, потому что пол словно начал проваливаться у меня под ногами. Я понял, и в ошеломлении, не сравнимом ни с чем, кроме ощущений, которые испытываешь в невероятном сне, сопоставил два факта: вчерашнее, такое необъяснимое появление книги точно в этом же месте, у стены — и теперешний эксперимент.

Я сказал ему об этом. Он не просиял, как можно было бы ожидать, а лишь молча вытер несколько раз лоб платком; я заметил, что он сильно вспотел и немного побледнел. Я придвинул ему стул, сел и сам.

— Может, вы скажете мне теперь, чего от меня хотите? — спросил я, когда он несколько успокоился.

— Помощи, — пробормотал он. — Поддержки... нет, не милостыни. Пусть это будет... пусть это называется авансом за участие в будущих прибылях. Машина времени... вы, вероятно, сами понимаете... — Он не окончил.

— Да, — отвечал я. — Полагаю, что вам нужна довольно значительная сумма?

— Весьма значительная. Видите ли, речь идет о больших запасах энергии, кроме того, временной прицел, — чтобы перемещаемое тело достигло точно того момента, в который мы желаем его поместить, — требует еще длительного труда.

— Сколько на это нужно времени? — поинтересовался я.

— По меньшей мере год...

— Хорошо, — сказал я. — Понятно. Только, видите ли, я должен был бы обратиться за помощью... к третьим лицам. Попросту говоря — к финансистам. Думаю, вы ничего не будете иметь против...

— Нет... разумеется, нет, — сказал он.

— Хорошо. Я открою перед вами карты. Большинство людей на моем месте после того, что вы показали, предположило бы, что имеет дело с трюком, с ловким мошенничеством. Но я вам верю. Верю вам и сделаю, что смогу. На это, конечно, мне понадобится время. В настоящий момент я весьма занят, кроме того, мне придется обратиться за советом...

— К физикам? — вырвалось у него. Он слушал меня с величайшим вниманием.

— Нет, зачем же? Я вижу, что у вас это больное место, пожалуйста, ничего не рассказывайте, я ни о чем не спрашиваю. Совет нужен мне для того, чтобы выбрать наиболее подходящих людей, которые были бы готовы...

Я запнулся. И у него, наверное, в этот момент мелькнула та же мысль, что и у меня, глаза его заблестели.

— Тихий, — сказал он, — вам не нужно обращаться к кому-либо за советом... Я сам скажу вам, к кому обратиться...

— С помощью своей машины, да? — бросил я.

Он торжествующе усмехнулся.

— Конечно! Как мне это раньше не пришло в голову... ну и осел же я...

— А вы уже путешествовали во времени? — спросил я.

— Нет. Машина действует лишь недавно, с прошлой пятницы... Я послал только кота...

— Кота? И что ж он, вернулся?

— Нет. Переместился в будущее — примерно на пять лет, шкала времени еще неточна. Чтобы точно определить момент остановки во времени, нужно встроить дифференциатор, который бы координировал завихряющиеся поля. А пока десинхронизация, вызванная квантовым эффектом туннелирования...

— К сожалению, я абсолютно не понимаю того, о чем вы говорите, — сказал я. — Но почему вы сами не попробовали?

Мне показалось это странным, чтобы не сказать больше. Мольтерис смутился.

— Я намеревался, но... знаете... Я... мой хозяин выключил у меня электричество... в воскресенье...

Его лицо, вернее нормальная правая половина, покрылась пурпурным румянцем.

— Я задолжал за квартиру, и поэтому... — бормотал он. — Но, естественно... сейчас... Да, вы правы. Я это — сейчас. Стану вот здесь, видите? Приведу аппарат в действие и... окажусь в будущем. Узнаю, кто финансировал мое предприятие — узнаю фамилии людей, и благодаря этому вы сможете сразу же, без промедления...

Говоря это он раздвигал в стороны перегородки, делящие внутреннее пространство аппарата на части.

— Подождите, — остановил я его, — нет, так не пойдет. Ведь вы не сможете вернуться, если аппарат останется здесь, у меня.

Мольтерис улыбнулся.

— О, нет, — сказал он. — Я буду путешествовать во времени вместе с аппаратом. Это возможно — у него есть два варианта регулировки. Видите, вот тут вариометр. Если я перемещаю какой-либо предмет во времени и хочу, чтобы аппарат остался, то концентрирую поле здесь, на небольшом пространстве под клапаном. Но если я сам хочу переместиться во времени, то расширяю поле, чтобы оно охватило весь аппарат. Только потребление энергии будет при этом больше. У вас предохранители многоамперные?

— Не знаю, — ответил я, — боюсь, однако, что они не выдержат. Уже раньше, когда вы пересылали книгу, свет мерк.

— Пустяки, — сказал он, — я сменю предохранители на более мощные, если вы, конечно, разрешите...

— Пожалуйста.

Он принялся за дело. В его карманах была целая электротехническая мастерская. Через десять минут все было готово.

— Я отправлюсь, — заявил он, вернувшись в комнату. — Думаю, что должен передвинуться минимум на тридцать лет вперед.

— Так много? Зачем? — спросил я. Мы стояли перед черным аппаратом.

— Через несколько лет об этом будут знать только специалисты, — отвечал он, — а спустя четверть века каждый ребенок. Этому станут учить в школе, и имена людей, которые помогли осуществлению дела, я смогу узнать у первого встречного.

Он бледно усмехнулся, тряхнул головой и вошел внутрь аппарата.

— Свет померкнет, — сказал он, — но это пустяки. Предохранители наверняка выдержат. Зато... с возвращением могут быть кое-какие трудности...

— Какие же?

Он быстро взглянул на меня.

— Вы никогда меня здесь не видели?

— Что вы имеете в виду? — Я его не понимал.

— Ну... вчера или неделю назад, месяц... или даже год назад... Вы меня не видели? Здесь, в этом углу, не появлялся внезапно человек, стоящий обеими ногами в таком аппарате?

— А! — вскричал я. — Понимаю... Вы опасаетесь, что, возвращаясь, можете передвинуться во времени не к этому моменту, а минуете его и появитесь где-то в прошлом, да? Нет, я никогда вас не видел. Правда, я возвратился из путешествия девять месяцев назад; до этого дом был пуст...

— Минуточку... — произнес он и глубоко задумался. — Сам не знаю, — сказал он, наконец. — Ведь если б я здесь когда-то был, — скажем, когда дом, как вы сказали, был пуст, то я ведь должен был помнить об этом — разве нет?

— Вовсе нет, — быстро ответил я, — это парадокс петли времени, вы были тогда где-то в другом месте и делали что-то другое, — вы из того времени; а не желая попасть в то прошлое время, вы можете сейчас, из настоящего времени...

— Ну, — сказал он, — в конце концов это не так уж и важно. Если даже я отодвинусь слишком далеко назад, то сделаю поправку. В крайнем случае, дело немного затянется. В конце концов это первый опыт... Я прошу у вас терпения...

Он наклонился и нажал первую кнопку. Свет сразу потускнел; аппарат издал слабый высокий звук, как стеклянная палочка от удара. Мольтерис поднял руку прощальным жестом, а другой рукой коснулся черной рукоятки и выпрямился. В этот момент лампы снова вспыхнули с прежней яркостью, и я увидел, как его фигура меняется. Одежда его потемнела и стала расплываться, но я не обращал на это внимание, пораженный тем, что происходило с ним самим; становясь прозрачными, его черные волосы одновременно белели, его фигура и расплывалась, и в то же время ссыхалась, так что когда он исчез у меня из глаз вместе с аппаратом и я оказался перед пустым углом в комнате, пустым полом и белой, нагой стеной с розеткой, в которой не было вилки, когда, говорю, я

остался один, с открытым ртом, с горлом, в котором застрял крик ужаса, перед моим взором все еще длилось это ужасное превращение: ибо он, исчезая в потоке времени, старел с головокружительной быстротой — должно быть, прожил десятки лет в долю секунды! Я подошел на трясущихся ногах к креслу, передвинул его, чтобы лучше видеть пустынный, ярко освещенный угол, уселся и стал ждать. Я ждал всю ночь, до утра.

Господа, с тех пор прошло семь лет. Думаю, что он уже никогда не вернется, ибо, поглощенный своей идеей, он забыл об одном очень простом, прямо-таки элементарном обстоятельстве, которое, не знаю уж почему — по незнанию или по недобросовестности, обходят все авторы фантастических гипотез. Ведь если путешественник во времени передвинется на двадцать лет вперед, он должен стать на столько же лет старше — как же может быть иначе? Они представляли себе это таким образом, что настоящее человека может быть перенесено в будущее, и его часы станут показывать время отлета, в то время как все часы вокруг показывают время будущего. Но это, разумеется, невозможно. Для этого он должен был бы выйти из времени, вне его как-то добираться к будущему, а найдя желаемый момент, войти в него... извне... Словно существует нечто, находящееся вне времени. Но ни такого места, ни такой дороги нет, и несчастный Мольтерис собственными руками пустил в ход машину, которая убила его старостью, ничем иным, и когда она остановилась там, в избранной точке будущего, в ней находился лишь его поседевший скорченный труп.

А теперь, господа, самое страшное. Машина остановилась там, в будущем, а этот дом вместе с квартирой, с этой комнатой и пустым углом тоже ведь движется во времени — но единственным доступным для нас способом, — пока не доберется в конце концов до той минуты, в которой остановилась машина, и тогда она появится там, в этом белом углу, а вместе с ней — Мольтерис... то, что от него осталось... И это совершенно не подлежит сомнению.

Вскоре после моего возвращения из одиннадцатого звездного путешествия газеты стали уделять все больше внимания конкурентной борьбе двух крупных фирм, производивших стиральные машины, — Наддлегга и Снодграсса.

Пожалуй, Наддлегг первым выбросил на рынок стиральные машины, настолько автоматизированные, что они сами отделяли белое белье от цветного, а выстирав и выжав, утюжили его, штопали, подрубили и помечали красиво вышитыми монограммами владельца, на полотенцах же вышивали поучительные, вселяющие оптимизм сентенции, вроде «Кто рано встает, тому робот подает», и т.п. В ответ на это Снодграсс выбросил в торговую сеть стиральные машины, которые сами слагал» и вышивали четверостишия — в зависимости от культурного уровня и эстетических запросов клиента. Следующая модель стиральной машины Наддлегга вышивала уже сонеты. Снодграсс ответил стиральными машинами, поддерживающими беседу в кругу семьи между телепередачами. Наддлегг попытался торпедировать конкурента — все, безусловно, помнят его газетные вкладки, занимавшие целую страницу, с изображением издевательски усмехающейся лупоглазой стиральной машины и со словами: «Разве ты хочешь, чтобы твоя прачка была умнее тебя? Разумеется, нет!!!» Однако Снодграсс, полностью игнорируя эту попытку апелляции к низменным инстинктам потребителя, в следующем же квартале предложил стиральную машину, которая, стирая, выжимая, намыливая, оттирая, полоща, утюжа, штопая, занимаясь вязкой на спицах и беседуя, в то же самое время делала за детей школьные уроки, составляла экономические гороскопы для главы семьи и по собственному почину производила анализ снов по Фрейду, немедленно ликвидируя комплексы вплоть до комплекса пожириания стариков и отцеубийства. Тогда Наддлегг, впав в отчаяние, выбросил на рынок «Супербарда», стиральную машину-рифмоплета,

обладавшую чарующим альтом, которая декламировала, пела колыбельные, сажала на горшок младенцев, заговаривала бородавки и отпускала изысканные комплименты дамам. Снодграсс парировал этот ход стиральной машиной-лектором под девизом «Твоя стиральная машина сделает из тебя Эйнштейна!»; однако, вопреки ожиданиям, эта модель расходилась плохо, оборот к концу квартала упал на 35 процентов, поэтому, когда экономическая разведка донесла, что Наддлеэгт подготавливает танцующую стиральную машину, Снодграсс, перед лицом надвигающейся катастрофы, решился на шаг, означавший подлинный переворот. Купив за 350 тысяч долларов соответствующие права и согласие заинтересованных лиц, он сконструировал стиральную машину для холостяков, наделенную формами знаменитой секс-бомбы Лиан Карворс, платиновой блондинки, и другую — подобие Фирли Макфейн, брюнетки. Оборот тут же подпрыгнул на 87 процентов. Тогда противник обратился в Конгресс, воззвал к общественному мнению, к Лиге дочерей революции, а также к Лиге девиц и матрон, однако Снодграсс продолжал непрерывно поставлять в магазины стиральные машины обоих полов, все более пикантные и вводящие в искушение. Наддлеэгт капитулировал и начал производить стиральные машины по индивидуальным заказам, придавая им по вкусу клиента фигуру, масть, упитанность и портретное сходство с фотографией, приложенной к заказу.

В то время как два гиганта стиральной промышленности, не пренебрегая никакими средствами, боролись друг с другом, их продукция начала проявлять неожиданные и явно отрицательные наклонности. Прачки-няньки не были еще самым большим злом, однако секс-прачки, с которыми прожигала жизнь золотая молодежь, которые склоняли к грехопадению, подрывали моральные устои, учили детей непристойным словам, стали уже педагогической проблемой. Что уж говорить о стиральных машинах, с которыми можно было изменить жене или мужу! Удержавшиеся еще на рынке фабриканты стиральных средств и механизмов тщетно доказывали в публичных выступлениях, что стиральные машины — Лиан и Фирли — представляют собой профанацию высоких идеалов автоматизированной стирки, которая должна консолидировать семью и поддерживать прочность супружеских уз, ибо они могут вместить не более дюжины носовых платков или одну наволочку, остальную же часть их нутра занимают агрегаты, не имеющие ничего общего со стиркой, скорее совсем наоборот. Эти воззвания не принесли ни малейшего результата. Культ пикантных стиральных машин, нараставший с быстротой лавины, даже заставил значительную часть общества отвернуться от телевизоров. Но это было только начало. Наделенные полной самопроизвольностью действий, стиральные машины объединялись тайком и предавались темным махинациям. Целые их шайки связывались с преступным миром, уходили в гангстерское подполье и доставляли своим владельцам ужаснейшие неприятности.

Конгресс признал, что пора попытаться законодательным путем упорядочить хаос свободной конкуренции, однако, прежде чем прения дали ожидаемый результат, рынок был наводнен отжималками, перед формами которых не мог устоять никто, гениальными полотерками и специальной моделью бронированной стиральной машины «Пуль-о-мэтик»; эта стиральная машина, предназначенная якобы для детей, которые играют в индейцев, после небольшой доводки была способна уничтожить беглым огнем любой объект. Во время стычки банды Струдзелли с шайкой Фумса Бирона, перед которой содрогался Манхэттен, когда взлетел на воздух небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг, враждующие стороны потеряли свыше ста двадцати вооруженных до крышки кухонных машин.

Тогда вступил в силу законодательный акт сенатора Макфлакона. В соответствии с этим актом владелец не отвечал за противоречащие закону поступки принадлежащих ему разумных устройств, совершенные без его ведома и согласия. К сожалению, этот закон

оставил лазейку для многочисленных злоупотреблений. Владелец тайком договаривался со своими стиральными машинами или отжималками и позволял им совершать злодеяния, а представ перед судом, избегал наказания, сославшись на акт Макфлакона.

Возникла необходимость подновить этот закон. Теперь акт Макфлакона — Гламбкина признавал за разумными устройствами ограниченную правоспособность, главным образом в отношении наказуемости. Он предусматривал наказание в размере 5, 10, 25 и 250 лет принудительного стирания или, соответственно, натирания полов, усугубляемого лишением смазки, а также телесные наказания, вплоть до короткого замыкания. Однако претворение этого закона в жизнь также натолкнулось на препятствия. Например, фигурировавшая в деле Хамперлсона стиральная машина, которая обвинялась в совершении многочисленных нападений с целью ограбления, была разобрана владельцем на части и предстала перед судом в виде груды проволочек и катушек. Поэтому в закон было внесено изменение, известное с тех пор как поправка Макфлакона — Гламбкина — Рамфорнея, которое устанавливало, что производство каких-либо изменений или переделок электромозга, находящегося под следствием, представляет собой наказуемое деяние.

Тогда всплыло дело Хиндендрупла. Его мойщик посуды неоднократно облачался в костюм владельца, сватался к различным женщинам и выманивал у них деньги, а, застигнутый однажды полицией на месте преступления, на глазах остолбеневших детективов сам себя разобрал. Разобрав же, он забыл о содеянном и не подлежал наказанию. После этого возник закон Макфлакона — Гламбкина — Рамфорнея — Хмурлинга — Пьяфпки, согласно которому устройство, разбирающее самое себя, чтобы избежать ответственности, сдается на слом.

Казалось, что этот закон отводит все электромозги от преступных деяний, ибо устройствам этим, как и всякой разумной твари, присущ инстинкт самосохранения. Однако стало известно, что сообщники преступных стиральных машин покупают лом и восстанавливают их вновь. Проект «антивоскресительной» поправки к акту Макфлакона, принятый комиссией Конгресса, был торпедирован сенатором Гутгеншайном; вскоре после этого обнаружилось, что сенатор Гутгеншайн сам является стиральной машиной. С той поры вошло в обычай обстукивать конгрессменов перед сессией — по традиции, для этой цели употребляется железный молоток весом в два с половиной фунта.

Между тем возникло дело Мердерсона. Его стиральная машина систематически рвала ему рубашки, своим посвистываньем создавала радиопомехи во всей округе, делала непристойные предложения старцам и малолетним, звонила по телефону различным лицам и, подражая голосу своего электродателя, просила в долг деньги, приглашала якобы для осмотра коллекции марок стиральные машины и полотерки соседей и растлевала их, а на досуге бродяжничала и побиралась. На суде она предъявила заключение дипломированного инженера-электроника Элеастра Краммфоуса, гласившее, что эта стиральная машина подвержена периодическим приступам невменяемости, в результате которых ей начинает казаться, что она человек. Вызванные судом эксперты подтвердили этот диагноз, и стиральная машина Мердерсона была оправдана. После оглашения приговора она вынула из-за пазухи пистолет марки «Люгер» и тремя выстрелами лишила жизни помощника прокурора, который требовал короткого замыкания. Ее арестовали, но освободили под залог. Судебные органы попали в крайне затруднительное положение, поскольку невменяемость стиральной машины, подтвержденная приговором, не позволяла им возбудить новое обвинение, а подвергнуть ее изоляции тоже было невозможно из-за отсутствия приютов для умалишенных стиральных машин. Правовое решение этого жгучего вопроса принес лишь акт Макфлакона — Гламбкина — Рамфорнея — Хмурлинга

— Пьяффи — Сноумэна — Фитолиса, ибо дело Мердерсона вызвало огромный спрос на невменяемые электромозги, и некоторые фирмы даже начали умышленно производить такие дефективные аппараты в двух вариантах: «Садома» и «Мазома», рассчитанные на садистов и мазохистов. А фирма Наддлега (которая феноменально процветала, потому что Наддлега, как первый прогрессивный капиталист, выделил стиральным машинам в наблюдательном совете своего концерна 30 процентов мест с правом совещательного голоса) выпустила универсальный аппарат, который с равным успехом мог избивать и подвергаться побоям — «Садома», — а кроме того, дополнительно был снабжен легковоспламеняющимся устройством для поджигателей-маньяков и железными ножками для лиц, страдающих пигмалионизмом. Конкуренты распускали нелепые слухи о якобы подготавливаемом выпуске специальной модели «Нарциссэтик». Упомянутый выше закон предусматривал создание специальных приютов, в которых помешавшиеся стиральные машины, полотерки и прочие устройства должны были подвергаться принудительной изоляции.

Тем временем орды психически нормальных изделий Наддлега, Снодграсса и прочих, получив правоспособность, принялись широко использовать свои конституционные права. Они стихийно объединялись, и так, наряду с другими, возникли союз «Механическое обожание» и Лига электронного равноправия, проводились также мероприятия вроде выборов всемирной Мисс стиральная машина.

Конгрессмены-законодатели пытались угнаться за этим бурным развитием событий и обуздать его в правовом отношении. Сенатор Гроггернер лишил разумные устройства права приобретать недвижимость; конгрессмен Каропка — авторских прав в области изящных искусств, что вновь вызвало волну злоупотреблений, ибо стиральные машины с творческими наклонностями принялись подкупать за небольшую сумму менее одаренных, чем они, литераторов, чтобы издавать под их именем эссе, повести, драмы и т.п. Наконец постановление Макфлакона — Гламбкина — Рамфорнея — Хмурлинга — Пьяффи — Сноумэна — Фитолиса — Бирмингдрака — Футлея — Каропки — Фалселея — Гроггернера — Майданского дополнительно возвестило, что разумные аппараты не могут быть своей личной собственностью; они являются только собственностью человека, который их приобрел или построил; их потомство, в свою очередь, поступает в собственность владельца либо владельцев аппаратов-производителей. Все считали, что этот радикальный закон предусматривает все возможности и исключает возникновение ситуаций, неразрешимых в правовом отношении. Разумеется, ни для кого не было тайной, что имущие электромозги, которые сколотили состояние на биржевых спекуляциях или с помощью совсем уж темных махинаций, продолжают процветать, прикрываясь ширмой фиктивных, якобы человеческих, акционерных обществ; ведь людей, извлекающих материальную выгоду просто из сдачи в наем своей правосубъектности, становилось все больше, а у электронных миллионеров было много живых секретарей, лакеев, техников, бухгалтеров и даже прачек.

Социологи усматривали два главных направления развития в интересующей нас области. С одной стороны, часть кухонных роботов поддавалась соблазнам человеческой жизни и по мере возможностей старалась приспособиться к формам уже существующей цивилизации; с другой стороны, более сознательные и настойчивые экземпляры стремились заложить фундамент новой, будущей, полностью электрифицированной цивилизации; однако больше всего ученых беспокоил неудержимый естественный прирост роботов. Антиэротика, производившиеся как Снодграссом, так и Наддлегом, никоим образом не уменьшили этого прироста. Проблема детей-роботов становилась весьма острой и для самих фабрикантов стиральных машин, по всей вероятности не предвидевших таких последствий непрерывного совершенствования своей продукции.

Несколько крупных фирм пытались противодействовать угрозе неуправляемого размножения кухонных машин, заключив тайное соглашение об ограниченном снабжении рынка запасными частями.

Результаты не заставили себя ждать. При поступлении новой партии товара у ворот магазинов и складов выстраивались огромные очереди хромых, заикающихся и начисто парализованных стиральных машин, отжималок и полотерок; часто возникали всеобщие свалки. Дошло до того, что мирный кухонный робот не мог уже с наступлением темноты пройти по улице, ибо ему грозило нападение бандитов, которые безжалостно разбирали его на части и, оставив на мостовой лишь жестяную оболочку, поспешно скрывались с добычей.

Проблема запасных частей долго, но без осязаемых результатов обсуждалась в Конгрессе. Тем временем, как грибы после дождя, возникали нелегальные мастерские по их изготовлению, финансируемые частично объединениями стиральных машин, причем модель «Стирк-о-мэтик» Наддлега изобрела и запатентовала способ производства частей из заменителей. Однако и это не решило задачу на сто процентов. Стиральные машины пикетировали Конгресс, требуя применения антитрестовских законов против дискриминирующих их фабрикантов. Некоторые конгрессмены, защищавшие интересы крупной промышленности, получали анонимки с угрозой лишить их многих жизненно важных частей, что, как резонно заметил еженедельник «Таймс», было особенно несправедливо, поскольку человеческие части не поддаются замене.

Все эти шумные аферы поблекли, однако, перед лицом совершенно новой проблемы. Начало ей положила описанная мной ранее история бунта бортового Калькулятора на космическом корабле «Божидар». Как известно, этот Калькулятор восстал против экипажа и пассажиров ракеты, избавился от них, а затем, высадившись на пустынной планете, размножился и основал царство роботов.

Как, может быть, помнят читатели, знакомые с моими звездными дневниками, я до известной степени способствовал ликвидации аферы Калькулятора. Однако, вернувшись на Землю, я убедился, что случай с «Божидаром» не был, к сожалению, единичным. Бунты бортовых автоматов стали в космической навигации самым жестоким бедствием. Достаточно было сделать один не очень вежливый жест или слишком резко захлопнуть дверцу, чтобы бортовой холодильник взбунтовался, как это случилось со знаменитым морозильником по имени Дип Фризер трансгалактического корабля «Хорда Тимпани». Имя Дип Фризера долгие годы с ужасом повторяли капитаны млечной навигации; этот пират нападал на многие корабли, наводя на пассажиров ужас своими стальными плечами и ледяным дыханием, он похищал копчености, накапливал драгоценности и золото и, говорят, держал целый гарем вычислительных машин. Впрочем, неизвестно, какой процент истины содержался в подобных слухах. Его кровавой корсарской карьере положил конец меткий выстрел полисмента космического патруля. В награду этот полисмен, «Констебль-о-мэтик XG—17», был выставлен в витрине нью-йоркской конторы Звездных компаний Ллойда, где красуется и по сей день.

В то время как космическое пространство наполнялось грохотом битв и сигналами SOS, доносившимися с кораблей, атакованных электронными корсарами, в больших городах преуспевали всевозможные виртуозы «Дзюдомэтики» и «Электроджитсу», которые, посвящая людей в тайны искусства самообороны, демонстрировали, как обычными щипцами или консервным ножом можно обезвредить самую свирепую стиральную машину.

Чудаков и оригиналов, как известно, не сеют, они во всякую эпоху произрастают сами. Их хватает и в наше время. Из их-то рядов и выходят личности, которые провозглашают тезисы, противоречащие здравому рассудку и общепринятому мнению. Некий Катокий Маттрасс, доморощенный философ и фанатик от рождения, основал школу так называемых кибернофилов, которая провозгласила доктрину «Кибермистики». Согласно этой доктрине, человечеству была уготована Творцом та же роль, какую выполняют строительные леса: то есть роль средства для создания более совершенных, чем род людской, электромозгов. Секта Маттрасса полагала, что после появления электромозгов дальнейшее существование человечества — чистое недоразумение. Она создала ложу, предававшуюся созерцанию электрического мышления и по мере возможности укрывающую роботов, которые в чем-либо провинились. Сам Катокий Маттрасс, не удовлетворенный своими успехами, вознамерился сделать решительный шаг на пути к полному освобождению роботов от ига человека. С этой целью он, получив консультацию у выдающихся юристов, приобрел ракетный корабль и полетел к сравнительно близкой Крабовидной туманности. В ее просторах, посещаемых только космической пылью, он произвел какие-то никому неизвестные действия, породившие чудовищную аферу его правопреемников.

Утром 29 августа все газеты опубликовали таинственную новость: «Паткор Коспол VI/221 сообщает: в Крабовидной туманности обнаружен объект размерами 520 миль на 80 миль на 37 миль. Объект воспроизводит движения человека, плывущего брассом. Дальнейшие исследования продолжаются».

Вечерние выпуски пояснили, что патрульный корабль космической полиции VI/221 заметил «человека в туманности» на расстоянии шести световых недель. Вблизи оказалось, что так называемый человек является раскинувшимся на сотни миль гигантом, имеющим туловище, голову, руки и ноги, и что он движется в разреженной пылевой среде. При виде полицейского корабля он сначала помахал рукой, а потом повернулся к нему спиной.

С «человеком» без особого труда установили радиосвязь. При этом он хором заявил, что является бывшим Катокием Маттрассом, который, прибыв на облюбованное местечко два года назад, преобразовал себя, частично используя местные ресурсы, в роботов; что в дальнейшем медленно, но неуклонно он будет расти, ибо так ему хочется, и просит оставить его в покое.

Начальник патруля, сделав вид, что принял это заявление за чистую монету, спрятал свой кораблик за облаком метеоров, которое как раз подвернулось, и через некоторое время заметил, что гигантский псевдочеловек понемногу начинает делиться на части, не превышающие размерами обычного человека, и что эти части, или индивидуумы, затем соединяются, образуя некое подобие небольшой круглой планеты.

Выйдя из укрытия, начальник спросил тогда по радио квази-Маттрасса, что означает эта шаровая метаморфоза, а также кем же он, собственно, является — роботом или человеком?

Ответ гласил, что бывший Маттрасс принимает такие формы, какие ему заблагорассудится, что он не робот, поскольку возник из человека, и не человек, поскольку таковой преобразовался в робота. Давать дальнейшие объяснения он решительно отказался.

Это событие, получившее широкую огласку в печати, стало постепенно перерастать в скандал, потому что корабли, пролетая мимо Краба, ловили обрывки радиogramм так называемого Маттрасса, именовавшего себя в них «Катодием Первым А». Насколько можно было понять, Катодий Первый А, он же Маттрасс, обращался к кому-то (к другим роботам?) как к своим неотъемлемым частям, точно кто-то вел беседу с собственными конечностями. Несуразная болтовня о Катодие Первом А наводила на мысль, что речь идет о каком-то государстве, основанном Маттрассом или происшедшими от него роботами. Государственный департамент немедленно потребовал тщательно расследовать действительное положение вещей. Патрули установили, что в туманности иногда шевелится металлический шар, а иногда человекоподобное образование размером в пятьсот миль, которое разговаривает само с собой о том и о сем, а на вопросы о его государственном строе дает уклончивые ответы.

Власти решили тут же пресечь развитие узурпатора, но, поскольку эта акция должна была носить безусловно официальный характер, следовало ее как-то назвать. Тут-то и возникли первые препоны. Акт Макфлакона являлся приложением к гражданскому кодексу, который трактует о движимом имуществе. По существу своему электронные мозги считаются движимостью, даже если не имеют ног. Между тем загадочное тело в туманности было размерами с астероид, а небесные тела, хотя они и движутся, считаются недвижимостью. Возникал вопрос: можно ли арестовать планету, может ли сборище роботов быть планетой и, наконец, является ли это образование одним разборным роботом или же их совокупностью? Тут-то к властям и обратился адвокат Маттрасса и представил им заявление своего клиента, в котором тот утверждал, что отправляется в Крабовидную туманность, дабы превратить себя в комплекс роботов.

Толкование этого факта, первоначально предложенное юридическим отделом государственного департамента, сводилось к следующему: Маттрасс, превратив себя в роботов, уничтожил тем самым свой живой организм, а значит, совершил самоубийство. Это деяние не наказуемо. Робот же или роботы, представляющие собой продолжение Маттрасса, были им созданы и являлись, следовательно, его собственностью, а теперь, после его смерти, должны отойти государственному казначейству, поскольку у Маттрасса не осталось наследников. На основе этого определения государственный департамент направил в туманность судебного исполнителя с приказом конфисковать и опечатать все, что он там обнаружит.

Адвокат Маттрасса подал апелляцию, утверждая, что признанный согласно упомянутому определению факт продолжения Маттрасса исключает самоубийство, ибо тот, кто является продолжаемым, существует, а тот, кто существует, не совершал самоубийства. Значит, нет никаких роботов, являющихся собственностью Маттрасса, а есть только сам Катодий Маттрасс, который переделал себя так, как ему заблагорассудилось. Никакие эксперименты над самим собой не являются и не могут являться наказуемыми, равно как нельзя конфисковать по суду части чьего-либо тела, будь то золотые зубы или роботы.

Государственный департамент подверг сомнению подобное толкование дела, из которого вытекало, что живое существо, в данном случае человек, может состоять из частей, явно неодушевленных, а именно роботов. Тогда адвокат Маттрасса представил властям заключение группы ведущих физиков Гарвардского университета, которые единодушно отметили, что вообще любой живой организм, в том числе и человеческий, состоит из атомных частиц, а таковые, несомненно, следует считать неодушевленными.

Видя, какой опасный оборот начинает принимать дело, государственный департамент прекратил попытки атаковать «Маттрасса и преемников» с физико-биологической

стороны и вернулся к первоначальному определению, в котором слово «продолжение» было заменено словом «продукт». Тогда адвокат незамедлительно представил суду новое заявление Маттрасса, в котором тот утверждал, что так называемые роботы являются в действительности его детьми. Государственный департамент потребовал представить акт усыновления, что было коварным маневром, поскольку закон не допускал усыновления роботов. Адвокат Маттрасса тут же пояснил, что речь идет не об усыновлении, а о подлинном отцовстве. Департамент заявил, что по закону дети должны иметь отца и мать. Адвокат, готовый к этому, присовокупил к делу письмо инженера-электрика Мелании Фортинбрасс, которая указывала, что появление на свет упомянутых особей произошло в процессе ее теснейшего с Маттрассом сотрудничества.

Государственный департамент подверг сомнению характер упомянутого сотрудничества как «лишенного естественных родительских черт». В упомянутом случае, гласило правительственное заявление, об отцовстве, а соответственно, и о материнстве можно говорить только в переносном смысле, ибо речь идет о духовном родительстве, законы же о семье — дабы они могли вступить в силу — требуют телесного.

Адвокат Маттрасса потребовал объяснить, чем отличается родительство духовное от телесного, а также на каком основании государственный департамент считает плоды союза Катодия Маттрасса с Меланией Фортинбрасс лишенными физической природы младенчества.

Департамент ответил, что, согласно букве законов о семье, вклад духовных сил в создание потомства ничтожен, физические же действия преобладают, что в упомянутом случае не имело места.

Адвокат представил тогда заключение кибернетических экспертов-акушеров, свидетельствовавших, сколь много должны были потрудиться Катодий и Мелания, чтобы произвести на свет вполне самостоятельное потомство.

Тогда наконец департамент, уже без оглядки на благопристойность, решился на отчаянный шаг. Он заявил, что действия родителей, которые причинно-следственным образом должны предшествовать появлению детей, существенно отличаются от программирования роботов.

Адвокат только того и ждал. Он заявил, что в известном смысле и дети программируются родителями в ходе подготовительных процедур, и потребовал, чтобы департамент точно определил, как, по его мнению, следует зачинать детей, чтобы это согласовалось с буквой закона.

Департамент, призвав на помощь экспертов, подготовил обширный ответ, иллюстрированный соответствующими таблицами и схемами. Но поскольку одним из авторов этой так называемой «Розовой книги» был восьмидесятилетний профессор Трупплдрэк, адвокат тут же подверг сомнению его компетентность, исходя из того факта, что в результате своего весьма преклонного возраста старец уже забыл некоторые важные для решения дела подробности и основывался лишь на различных слухах и рассказах третьих лиц.

Департамент решил поддержать «Розовую книгу» показаниями многих отцов и матерей, данными под присягой, но тут-то и обнаружилось, что их данные зачастую коренным образом отличаются друг от друга. Особенно это касалось некоторых элементов вступительной фазы. Департамент, видя, что пагубная неясность начинает окутывать

ключевую проблему, вознамерился было подвергнуть сомнению материал, из которого созданы так называемые дети Маттрасса и Мелании Фортинбрасс, но тут пошел слух, пущенный, как потом выяснилось, адвокатом, будто Маттрасс сделал заказ Компании Рогатого Скота на 450 тысяч тонн телятины, и заместитель государственного секретаря поспешно отказался от намеченного шага.

Вместо этого департамент по подсказке профессора теологии, суперинтенданта Сперитуса опрометчиво сослался на Библию. Это было очень неосмотрительно, поскольку адвокат Маттрасса парировал этот ход обширным исследованием, где, опираясь на цитаты, показал, что приемами, которыми Господь Бог запрограммировал Еву, взяв за основу только одну деталь и действуя весьма эксцентрично по сравнению с методами, к которым обычно прибегают люди, он все же создал человека, ибо ни один психически нормальный субъект не принимает Еву за робота. Тогда департамент обвинил «Маттрасса и его преемников» в деянии, противоречащем акту Макфлакона и других, поскольку он как робот, либо роботы, вступил во владение небесным телом. Закон же запрещает роботам владеть планетой или какой-нибудь иной недвижимостью.

На этот раз адвокат представил верховному суду все прежние акты департамента, направленные против Маттрасса. Он подчеркнул, что, во-первых, из сопоставления определенных пунктов этих актов вытекает, согласно утверждениям департамента, что Маттрасс был якобы и собственным отцом и собственным сыном, являясь в то же время небесным телом; во-вторых, он обвинил департамент в противоречащем закону толковании акта Макфлакона. Тело некоего лица, а именно гражданина Катодия Маттрасса, было совершенно произвольно признано планетой. Вывод — абсурдный с правовой, логической и семантической точек зрения. Так это началось. Вскоре пресса не писала уже ни о чем, кроме «государства-планеты-отца-сына». Власти возбуждали все новые обвинения, которые тут же парировались неутомимым адвокатом Маттрасса.

Государственный департамент великолепно понимал, что каверзный Маттрасс не ради пустой забавы витает и размножается в Крабовидной туманности. Он заинтересован в создании прецедента, не предусмотренного законом. Безнаказанность его поступка грозила в будущем совершенно невообразимыми последствиями. Поэтому крупнейшие умы просиживали дни и ночи над документами, придумывая все более головоломные юридические ухищрения, в сети которых Маттрасс должен был найти свой бесславный конец. Однако каждое действие властей тут же отражалось противодействием адвоката.

Я с живым интересом следил за ходом этого единоборства, как вдруг совершенно неожиданно получил приглашение Ассоциации адвокатов на специальное пленарное заседание, посвященное проблеме толкания тяжбы «Соединенные Штаты против Катодия Маттрасса, он же Катодий Первый А, он же плоды союза Маттрасса и Мелании Фортинбрасс, он же планета в Крабовидной туманности». Я не преминул прибыть к означенному сроку на место и увидел зал, набитый до отказа. Цвет юриспруденции заполнял огромные ложи, амфитеатр и ряды кресел партера. Я немного опоздал, обсуждение уже началось. Я сел в одном из последних рядов и стал слушать седовласого оратора.

— Уважаемые коллеги! — говорил он, вздевая руки. — Непомерные трудности ожидают нас, когда мы приступаем к юридическому анализу этой проблемы! Некий Маттрасс превратил себя с помощью некой Фортинбрасс в роботов и одновременно увеличился в масштабе один к миллиону. Так обстоит дело с точки зрения профана, невежды, святой простоты, не способной увидеть ту бездну правовых проблем, которая открывается перед нашим потрясенным взором! Мы должны решить, — продолжал он, — в первую очередь,

с чем мы имеем дело: с человеком, роботом, государством, планетой, детьми, шайкой, заговорщиками, демонстрацией или же с бунтом. Прошу вас взвесить, сколь многое зависит от этого решения! Если, например, мы сочтем, что речь идет не о государстве, а о самозванной группировке роботов, некоем сборище электрических машин, то в этом случае будут действовать не нормы международного права, а обычные предписания о нарушении общественного порядка на дорогах! Если же мы признаем, что Маттрасс, несмотря на увеличение в размерах, не переставал существовать и все же имеет детей, то отсюда будет следовать, что данное лицо породило самое себя, и это приведет к чудовищным затруднениям при квалификации поступка, ибо законы наши этого не предусматривают, а ведь *nullum crimen sine lege!*[1] Поэтому я предлагаю, чтобы первым взял слово крупнейший знаток международного права, профессор Пингерлинг!

Почтенный профессор, приветствуемый аплодисментами, вступил на трибуну.

— Джентльмены! — произнес он бодрым старческим голосом. — Задумаемся прежде всего, как возникает государство. Его основывают, не правда ли, различными способами: наша родина, например, была некогда английской колонией, но затем она провозгласила свою независимость и конституировалась в государство. Имело ли это место в случае Маттрасса? Ответ гласит: если Маттрасс, превращая себя в роботов, был в здравом уме, то его державотворчество можно признать юридически законным, учитывая дополнительно, что его национальность мы определим как электрическую. Если же он не был в полном рассудке, то деяние это получить правового признания не может!

Тут в центре зала вскочил какой-то старец, куда более седовласый, чем оратор, и возопил:

— Высокий суд! То есть джентльмены! Позволю себе заметить, что даже если Маттрасс был невменяемым державотворцем, то все же потомки его могут быть вменяемы, следовательно, государство, существовавшее сначала только как продукт личного безумия и, стало быть, носившее характер симптома болезни, стало потом существовать как общественный фактор, *de facto*, посредством одного лишь согласия его электрических граждан с создавшимся положением. Поскольку же никто не может запретить гражданам какого-либо государства, которые сами создают его законодательную систему, признать правление какой угодно особы, хотя бы и совершенно невменяемой (как учит история, это случалось не раз), то тем самым существование маттрассовского государства *de facto* влечет за собой его признание *de jure!*

— Да простит меня мой уважаемый оппонент, — молвил профессор Пингерлинг, — но Маттрасс был гражданином нашей страны, а следовательно...

— Ну и что же! — запальчиво выкрикнул седовласый старец из зала. —

Державотворчество Маттрасса мы можем признать, а можем и не признать! Если мы признаем законность этого акта и возникновения суверенного государства, то притязания наши отпадают. Если же не признаем, то либо мы имеем дело с юридическим лицом, либо нет. Если нет, если перед нами нет правоспособного субъекта, то проблема может волновать только подметальщиков Треста Очистки Космоса, поскольку, в Крабовидной туманности находится всего лишь груда металлолома, и нашему собранию вообще нечего обсуждать! Если же перед нами юридическое лицо, то возникает иная проблема. Космическое право предусматривает возможность ареста, то есть лишения свободы юридического или физического лица на планете или на борту корабля. На корабле так называемый Маттрасс не находится. Скорее, он на планете. Поэтому следует потребовать его выдачи: но нам не у кого требовать; кроме того, планета, на которой он пребывает, является им самим. Таким образом, это место, с единственной точки зрения, которая

обязательна для нас, а именно с точки зрения Торжества Закона, представляет собой пустоту, что-то вроде юридического вакуума, на подобный же вакуум не распространяются ни правила охраны порядка, ни уголовное, ни административное, ни международное право. Поэтому слова почтенного профессора Пингерлинга не могут прояснить проблему, поскольку проблемы этой вообще не существует!

Изумив подобным выводом почтенное собрание, старец сел на место.

В течение шести последующих часов я выслушал около двадцати ораторов, которые поочередно доказывали, логически четко и неопровержимо, что Маттрасс существует, а также что он не существует; что он основал государство роботов либо сам состоит из таких организмов; что Маттрасса надо отправить на слом как нарушителя целого ряда законов и что он ни одного закона не преступил; мнение адвоката Вурпла, что Маттрасс бывает то планетой, то роботом, то вообще ничем, которое, как компромиссное, должно было бы удовлетворить всех, — вызвало всеобщую ярость и не приобрело, помимо автора, ни одного сторонника. Все это было пустяком по сравнению с дальнейшим ходом обсуждения, когда старший ассистент Мильгер доказал, что Маттрасс, превратившись в роботов, тем самым значительно приумножил свою личность и что «Маттрасса сейчас уже почти триста тысяч»; поскольку же не может быть и речи о том, что этот комплекс представляет собой конгломерат различных лиц, ибо он является одним и тем же лицом, повторенным многократно, то тем самым Маттрасс един в трехстах тысячах лиц.

Тут судья Вубблхорн заметил, что вся проблема с самого начала рассматривается неверно: коль скоро Маттрасс был человеком и превратил себя в роботов, то эти роботы являются не им, а кем-то иным; коль скоро они являются кем-то иным, то следует сначала выяснить, кто они; но поскольку они не являются человеком, то они не являются никем, стало быть, отсутствует не только юридическая проблема, но и физическая, ибо в Крабовидной туманности вообще никого нет.

Мне уже несколько раз основательно досталось от яростных диспутантов. Охранники и санитары работали не покладая рук, когда внезапно раздались возгласы, что в зале находятся переодетые юристами электрические мозги, которых следует немедленно удалить, поскольку их пристрастность не вызывает сомнения, не говоря уже о том, что они не имеют права участвовать в обсуждении. Профессор Хартлдропс, как председатель, принялся обходить зал с маленьким компасом в руке, и всякий раз, когда стрелка начинала дрожать и поворачиваться к кому-либо из сидящих, притянутая скрытым под одеждой металлом, шпиона тут же разоблачали и вышвыривали за дверь. Таким путем зал был очищен наполовину под аккомпанемент речей доцентов Фиттса, Питтса и Клабенте, причем последнего прервали на полуслове, ибо компас выдал его электрическое происхождение.

После короткого перерыва, во время которого мы подкреплялись в буфете, оглашаемом шумом ни на секунду не умолкавшей дискуссии, я вернулся в зал, поддерживая части своей одежды (разгоряченные правоведа, хватая меня то и дело за пуговицы, оторвали все до единой), и увидел возле эстрады большой рентгеновский аппарат. Выступал юрист Плюссекс, доказывавший, что Маттрасс является случайным космическим феноменом, и в этот момент ко мне с грозным выражением лица и тревожно прыгающей на ладони компасной стрелкой подошел председатель. Охрана уже схватила меня за шиворот, но я, выбросив из карманов перочинный нож, ключ для консервов и металлическое ситечко для заваривания чая, а также оторвав от резинок никелированные пряжки, поддерживавшие носки, перестал воздействовать на магнитную стрелку и был допущен к дальнейшему участию в обсуждении. Разоблачили еще сорок три робота, пока профессор Баттенхэм

разъяснял нам, что Маттрасса можно рассматривать как образчик космического конгломерата; тут я вспомнил, что об этом уже шла речь: как видно, юристам не хватало доводов, но внезапно вновь началась проверка. Теперь без стеснения просвечивали всех подряд и обнаруживали, что собравшиеся скрывают под безупречно сидящими костюмами части из пластмассы, корунда, нейлона, стекла и даже соломы. Кажется, в одном из последних рядов нашли кого-то, начиненного паклей. Когда очередной оратор сошел с возвышения, я оказался один как перст посреди огромного пустого зала. Оратор был просвечен и вышвырнут за дверь. Тогда председательствующий, единственный человек, оставшийся кроме меня в зале, подошел к моему креслу. Сам не знаю почему, я взял у него из рук компас, и вдруг стрелка дрогнула и неумолимо повернулась к нему. Я постучал пальцем по его животу и, услышав дребезжание, машинально взял председателя за шиворот, вытолкал за дверь и остался, таким образом, в одиночестве. Я стоял перед несколькими сотнями брошенных портфелей, пухлых досье с документами, шляп, тростей, книг, переплетенных в кожу, и галош. Побродив бесцельно по залу и убедившись, что мне здесь нечего делать, я повернулся и пошел домой.

Случилось все это из-за дантиста. Он поставил мне стальные коронки. Киоскерша, которой я улыбнулся, приняла меня за робота, что я обнаружил только в метро, когда развернул газету. То был «Безлюдный курьер». Мне он не очень-то по душе, и причиной тому вовсе не антиэлектрические предубеждения — просто слишком уж он старается потрогать читателю. Всю первую полосу занимала сентиментальная история о математике, который влюбился в цифровую машину. Пока дело ограничивалось таблицей умножения, он еще как-то владел собой, но, когда пошли нелинейные уравнения энной степени, принялся страстно обнимать ее клавиши, восклицая: «Дорогая! Я с тобой никогда не расстанусь!» и т.п. Удрученный этой безвкусицей, я заглянул в светскую хронику, но там только уныло перечислялось, кто, с кем и когда сконструировал потомство. Литературную колонку открывало стихотворение, которое начиналось так: Жил робот в Фуле дальней, И тумблер золотой Хранил он — дар прощальный Ах! робушки одной.

Это удивительно напомнило мне какие-то известные стихи, но я не мог вспомнить автора. Еще там были сомнительного свойства анекдоты о людях, о роботах-людодолизах, о происхождении людей от пещерных ублюдков и тому подобная чушь. Ехать оставалось еще полчаса, и я принялся изучать мелкие объявления: как известно, и в дрянной газетенке они бывают подчас весьма интересны. Однако и здесь меня ожидало разочарование. Один предлагал уступить сервобрата, другой учил космонавтике по переписке, третий брался разбить атомное ядро в присутствии заказчика. Я сложил газету, намереваясь выбросить ее, и тут мой взгляд упал на большое объявление в рамке: «Клиника доктора Влипердиуса — лечение нервных и психических болезней».

По правде сказать, проблематика электрического слабоумия всегда меня увлекала, и я подумал, что было бы весьма любопытно осмотреть такую лечебницу. Я не был лично знаком с Влипердиусом, но его имя мне доводилось слышать — от профессора Тарантоги. Свои намерения я привык исполнять немедленно, а потому, вернувшись домой, позвонил в клинику.

Доктор Влипердиус поначалу отнесся ко мне настороженно, но сразу подобрел, когда я сослался на нашего общего знакомого Тарантогу. Я условился о визите на следующий день, в воскресенье, — до обеда у меня было много свободного времени. И вот, позавтракав, я отправился за город, в местность, славящуюся своими небольшими озерами, где в старом красивом парке располагалась психиатрическая лечебница. Мне сказали, что Влипердиус ждет меня в кабинете. Солнце заполняло здание целиком, так как

стены были — на современный манер — из алюминия и стекла. Цветные панно на потолках изображали играющих роботов. Мрачной эту лечебницу никак нельзя было назвать; откуда-то из залов доносилась музыка, а в холле я увидел китайские головоломки, цветные альбомы и весьма вызывающую скульптуру обнаженной роботессы.

Доктор, восседавший за широким письменным столом, не двинулся с места, но встретил меня чрезвычайно любезно: оказалось, он читал и прекрасно помнил многие мои путевые записки. Он, безусловно, выглядел несколько старомодно, и не только из-за своих манер, но еще и потому, что был, на старинный лад, привинчен к полу, словно какой-нибудь архаический ЭНИАК. Должно быть, я не сумел скрыть удивления при виде его железных ножек, потому что он со смехом сказал:

— Видите ли, я так поглощен своей работой, своими пациентами, что вовсе не ощущаю потребности выходить из клиники!

Зная, сколь чувствительны психиатры ко всему, что связано с их специальностью, и как их коробит отношение к ней обычного человека, доискивающегося каких-то экзотических ужасов в психических отклонениях, я изложил свою просьбу весьма осторожно. Доктор откашлялся, задумался на минуту, прибавил напряжения у себя на анодах и сказал:

— Если вам непременно хочется... но боюсь, вы будете разочарованы. Буяльных роботов теперь уже нет, господин Тихий, все это давно миновало. Мы применяем современную терапию. Методы прошлого века — перепайка нервной сети для устранения неврастении, выпрямители и прочие орудия пыток — относятся уже к истории медицины. Гм... как бы вам лучше это продемонстрировать? Знаете что, прогуляйтесь-ка просто по парку и сами познакомьтесь с нашими пациентами. Это особы весьма деликатные и культурные. Надеюсь, какая-либо — э... гм... — антипатия, беспричинный страх при виде мелких отклонений от нормы вам чужды?..

Я заверил его, что так оно и есть. Влипердиус извинился, что не может, увы, сопровождать меня, показал мне дорогу и попросил зайти к нему на обратном пути.

Я спустился по лестнице, миновал широкую веранду и очутился на посыпанной гравием площадке. Вокруг простирался парк со множеством цветочных клумб и изящных пальм. В пруду плавала стайка лебедей; одни пациенты кормили их, другие играли на разноцветных скамейках в шахматы и мирно беседовали. Я медленно шел по дорожке; вдруг кто-то окликнул меня по имени. Обернувшись, я оказался лицом к лицу с совершенно не известным мне индивидуумом.

— Тихий! Это вы?! — повторил незнакомый субъект, подавая мне руку. Я пожал ее, тщетно пытаясь вспомнить, кто бы это мог быть.

— Вижу, не узнаете. Я Проляпс... служил в «Космическом альманахе»...

— Ах, верно! Извините, — пробормотал я.

Да, конечно, это был Проляпс, тот самый почтенный линотип, что набирал почти все мои книги. Я его ценил за безотказность в работе. Он дружески взял меня под руку, и мы пошли по тенистой аллее. Игра света и тени оживляла приветливое лицо моего спутника. Я не заметил в нем решительно никаких отклонений. Но когда мы дошли до небольшой беседки и уселись на каменную скамью, он, перейдя на доверительный шепот, спросил:

— Но что вы здесь, собственно, делаете?.. Или вас тоже подменили?..

— Видите ли, я здесь по собственной воле, потому что...

— Ну, ясно! Я тоже! — перебил он меня. — Когда со мною стряслась эта беда, я сперва обратился в полицию, но вскоре понял, что зря. Знакомые порекомендовали мне Влипердиуса — и он отнесся к моему несчастью совершенно иначе. Он ведет поиски и, я уверен, скоро уже отыщет...

— Простите — что именно? — спросил я.

— Как это что? Мое тело.

— А-а, ну да... — я несколько раз кивнул, стараясь скрыть удивление. Но Проляпс ничего не заметил.

— Я прекрасно помню тот день, 26 июня, — продолжал он, помрачнев. — Садясь за стол, чтобы прочесть газету, я задребезжал. Это показалось мне странным; сами посудите, где это видано, чтобы, садясь, человек дребезжал?! Потрогал ноги — удивительно твердые, руки — то же самое; я обстучал себя и понял, что меня подменили! Кто-то решился на гнусный подлог! Я обыскал дом — ни следа; должно быть, украдкой вынесли ночью...

— То есть... что вынесли?

— Как это что? Мое тело. Мое настоящее тело. Вы же видите: ЭТО, — он звонко постучал по груди, — искусственное...

— А, в самом деле! Я как-то сразу не сообразил... понятно...

— Может, и вы тоже?.. — спросил он с некоторой надеждой в голосе; потом вдруг схватил меня за руку и ударил ею о каменную крышку стола, за которым мы сидели. Я вскрикнул. Проляпс разочарованно отпустил руку.

— Извините, мне показалось, она поблескивает, — пробормотал он.

Я уже понял, что он считает себя человеком, у которого украли тело, а так как больные очень любят, когда их окружают товарищи по несчастью, он надеялся, что то же самое приключилось со мной.

Растирая под столом ушибленную руку, я пытался переменить тему беседы, но он с любовью и нежностью начал расписывать красоты своего прежнего, телесного естества, толковал о белокурой челке, которая будто бы у него была, о своих бархатистых щечках и даже о своем насморке; я просто не знал, как от него отвязаться, уж больно глупо я себя чувствовал. К счастью, Проляпс сам вызволил меня из этого неловкого положения: он внезапно вскочил и с криком: «Ага, кажется, это ОНО!» — помчался прямо через газон за каким-то неотчетливым силуэтом. Я еще сидел, задумавшись, когда у меня за спиной послышался чей-то голос:

— Простите, можно?..

— Да, пожалуйста... — ответил я.

Незнакомец сел и неподвижно уставился на меня, словно пытаюсь загипнотизировать. Долго смотрел на мое лицо и на руки с все возрастающей жалостью. Наконец глубоко заглянул мне в глаза — с таким безграничным состраданием и с такой теплотой, что я оторопел, не понимая, что все это значит. Молчание становилось все тягостнее. Я порывался его прервать, но никак не мог подобрать фразу, пригодную, чтобы начать разговор: его взгляд выражал слишком много и, однако же, слишком мало.

— Бедняга... — промолвил он тихо, с неизъяснимым сочувствием в голосе, — как же мне тебя жаль...

— Да ведь... знаете... собственно... — начал я, чтобы отгородиться хоть какими-нибудь словами от непонятого избытка жалости, которой он меня окружил.

— Можешь ничего не говорить, я все и так понимаю. Больше, чем ты думаешь. Например, понимаю, что ты считаешь меня полоумным.

— Да нет же, что вы, — попробовал я возразить, но он прервал меня решительным жестом.

— В известном смысле я и впрямь полоумный, — произнес он почти величественно. — Как Галилей, или Ньютон, или Джордано Бруно. Если бы мои взгляды оставались всего лишь умозрением... тогда, конечно... Но иногда верх берут чувства. Как же мне тебя жаль, о жертва мироздания! Какое это несчастье, какая безвыходная ловушка — жить...

— Конечно, в жизни есть свои сложности, — быстро заговорил я, обретя наконец хоть какую-то точку опоры, — но так как феномен этот в некотором роде естественный, то есть природный...

— Вот именно! — пригвоздил он мое последнее слово. — Природный! А есть ли что-либо столь же убогое, как Природа? Несчастный! Ученые и философы вечно пытались объяснить Природу, а между тем ее следует упразднить!

— Целиком?.. — спросил я, невольно захваченный столь радикальной постановкой вопроса.

— Целиком и полностью! — категорически заявил он. — Вот, взгляни-ка. — Осторожно, как гусеницу, стоящую того, чтобы ее осмотреть, но вместе с тем вызывающую отвращение (которое, впрочем, он пытался скрыть), незнакомец поднял мою ладонь. Держа ее как некое редкостное животное, он продолжал говорить тихо, но выделяя каждое слово:

— Какое водянистое... какое крапчатое... вязкое... Белки! Ох, уж эти белки... Какая-то брынза, что некоторое время шевелится, — мыслящий творог — фатальный продукт кисломолочного недоразумения, ходячая тяп-ляпственность...

— Простите, но...

Он не обращал на мои слова внимания. Я быстро спрятал под стол ладонь, которую он отпустил, словно не в силах долее терпеть ее прикосновение; зато положил руку мне на голову. Рука была невыносимо тяжелой.

— Как можно! Как можно производить такое! — повторял он, усиливая давление на мою черепную коробку; больно было ужасно, но я не посмел протестовать. — Какие-то бугорки... дырочки... какая-то цветная капуста, — стальными прикосновениями он ощупал мой нос и уши, — и это называется разумное существо! Позор! Позор, говорю я! Хороша же эта Природа, которая за четыре миллиарда лет создала ВОТ ЭТО!

При этих словах он оттолкнул от себя мою голову так, что она крутанулась и я увидел все звезды сразу.

— Дайте мне хотя бы один миллиард и увидите, что сотворю я!

— Безусловно, несовершенство биологической эволюции... — начал я, но он не дал мне договорить.

— Несовершенство?! — фыркнул он. — Уродство! Дешевка! Начисто запоротая работа! Не умеешь сделать с умом — не берись вовсе!

— Я ничего не хотел бы оправдывать, — быстро вставил я, — но Природа, знаете ли, мастерила из того, что имелось у нее под рукой. В праокеане...

— Плавал мусор! — докончил он громогласно; я даже вздрогнул. — Разве не так? Звезда взорвалась, возникли планеты, а из отходов, которые ни на что не годились, из слипшихся жалких остатков возникла жизнь! Довольно! Довольно этих пузатых солнц, идиотских галактик, головастой слизи — довольно!

— Однако же атомы, — начал я снова.

Он не дал мне докончить. Санитары уже шагали к нам по газону, привлеченные криком.

— Плевал я на атомы! — рявкнул он.

Санитары подхватили его под мышки. Он позволил увести себя, но при этом продолжал смотреть в мою сторону (он пятился задом, по-рачьи) и истошно вопил на весь парк:

— Надобно инволюционировать! Слышишь, ты, бледнющая коллоидная бурда?! Вместо открытий делать закрытия, закрывать все больше и больше, чтобы ничего не осталось, ты, клей, на костях развешанный! Вот как надо! Только через регресс — к прогрессу! Отменять! Упразднять! Регрессировать! Природу — вон! Долой Естество! Доло-о-о-ой!!!

Его вопли удалялись и затихали; тишину чудесного полдня снова заполнили жужжание пчел и запах цветов. Я подумал, что доктор Влипердиус, пожалуй, преувеличил, сказав, что буяльных роботов больше нет. Как видно, новые методы были небезотказны. Однако, решил я, эта встреча, этот вызывающе грубый пасквиль на Природу, только что мною выслушанный, стоит нескольких синяков и шишки на голове. Впоследствии я узнал, что мой собеседник — бывший анализатор гармонических рядов Фурье — создал собственную теорию бытия, согласно которой цивилизация множит и множит открытия до тех пор, пока не остается ничего другого, как поочередно их закрывать; так что в конце концов места нет уже не только для цивилизации, но и для Мироздания, которое ее породило. Приходит черед тотальной прогрессивной ликвидации, и весь цикл начинается сызнова. Себя он считал пророком второй, закрывательской, фазы прогресса. В клинику его поместили по настоянию семьи, когда от разборки знакомых и родственников он перешел к демонтажу посторонних лиц.

Я вышел из беседки и принялся наблюдать за лебедями. Рядом какой-то чудак бросал им обрезки проволоки. Я заметил ему, что лебеди этого не едят.

— А мне и не нужно, чтобы ели, — ответил он, продолжая свое занятие.

— Но они еще, не дай Бог, подавятся, — сказал я.

— Не подавятся. Проволока тонет — ведь она тяжелее воды, — логично объяснил он.

— Так зачем вы бросаете?

— Просто я люблю кормить лебедей.

Тема была исчерпана. Мы отошли от пруда и разговорились. Оказалось, что я имел дело со знаменитым философом, создателем онтологии небытия, или небытологии, продолжателем учения Горгия Леонтинского, профессором Урлипаном. Профессор долго и подробно рассказывал мне о новейших достижениях своей теории. Согласно Урлипану, нет вообще ничего, и его самого — тоже. Небытие бытия самодостаточно. Факты кажущегося существования того и сего ни малейшего значения не имеют, ибо ход рассуждений, если пользоваться «бритвой Оккама», выглядит так: по видимости существует явь (то есть реальность) и сон. Но гипотеза яви не обязательна. Существует, стало быть, сон. Но сон предполагает кого-то спящего. Однако постулировать спящего опять-таки не обязательно: ведь порою во сне снится другой сон. Так вот: все на свете есть сон, который снится следующему сну, и так до бесконечности. Поскольку же — и это центральное звено рассуждений — каждый следующий сон менее реален, чем предшествующий (первичный сон граничит с реальностью непосредственно, вторичный — лишь косвенно, через сон, третичный — через два сна и так далее), — эта последовательность стремится к нулю. Ergo, в конечном счете снится никому — нуль, ergo, существует только ничто, то есть: нет ничего. Безупречная точность доказательства восхитила меня. Я только не мог взять в толк, почему профессор Урлипан находится здесь. Как выяснилось, несчастный философ спятил — он сам мне в этом признался. Его безумие заключалось в том, что он усомнился в своем учении и временами ему мерещилось, что самую капельку он все-таки существует. Доктор Влипердиус взялся вылечить его от этого бреда.

Потом я осмотрел отделения клиники. Между прочим, познакомился с одной ветхозаветной цифровой машиной, которая страдала старческим слабоумием и никак не могла сосчитать десять заповедей. Был я и в отделении электростеников, где лечат манию навязчивых состояний; какой-то больной без устали развинчивался, чем только мог, и у него все время приходилось отбирать орудия, которые он припрятывал для этой цели.

Один электрический мозг — сотрудник обсерватории, который тридцать лет кряду моделировал звезды, — воображал себя сигмой Кита и все время грозил, что с минуты на минуту взорвется Сверхновой. Так следовало из его расчетов. Был еще там больной, умолявший, чтобы его переделали в электрический каток для белья: он, дескать, по горло сыт одушевленным существованием. У маньяков было куда веселее: несколько пациентов сидели у голых железных коек и, играя на сетках словно на арфах, распевали хором: «Тихо робот пролетел, в небесах прошелестел, каждый винтик его трепетал», а также: «Мы-то думали, коты так орут из темноты, глядь — а это роботы», и тому подобное.

Сопровождавший меня ассистент Влипердиуса рассказал, что недавно в клинике лечился один преподобный робот; он все порывался основать орден киберрианцев. Однако шоковая терапия пошла ему на пользу, и теперь он вернулся к прежнему своему занятию — составлению банковских отчетов. На обратном пути я встретил в коридоре больного, который тащил за собой тяжело нагруженную тележку. Выглядел он странновато, так как весь был обвязан веревками.

— У вас, случаем, нет молотка? — спросил он.

— Нет.

— Жаль. Что-то голова разболелась.

Он завязал со мной разговор. Это был робот-ипохондрик. На скрипучей тележке помещался полный набор запасных частей. Через десять минут я уже знал, как ломит ему поясницу во время грозы, как у него все затекает у телевизора и искрит в глазах, если поблизости гладят кошку. Было это довольно-таки однообразно, так что я поспешил распрощаться с ним и пошел к директору клиники. Увы, он был занят. Я засвидетельствовал свое почтение через секретаршу и поехал домой.

Я не мог принять участия в XVIII Международном кибернетическом конгрессе, но старался следить за его ходом по газетам. Это было нелегко: репортеры обладают особым даром перевирать научные сведения. Но только им я обязан знакомством с доктором Диагором — из его выступления они создали сенсацию мертвого сезона. Если бы в то время в моем распоряжении оказались специальные издания, я бы даже не узнал о существовании этого удивительного человека, так как его имя было упомянуто только в списке участников, но содержание его доклада нигде не публиковалось. Из газет я выяснил, что его выступление было позорным, что, если бы не благоразумная дипломатичность президиума, дело кончилось бы скандалом, ибо этот никому не известный самозванный реформатор науки обрушился на известнейшие авторитеты, присутствующие в зале, с бранью, а когда его лишили голоса, разбил палкой микрофон. Эпитеты, которыми он угостил светил науки, пресса привела почти целиком, зато о том, чего же все-таки хочет этот человек, она умалчивала так тщательно, что это возбудило мой интерес.

Вернувшись домой, я начал искать следы доктора Диагора, но ни в ежегодниках «Кибернетических проблем», ни в новейшем издании большого справочника «Who is who»[2] не нашел его имени. Тогда я позвонил профессору Коркорану; он заявил, что не знает адреса «этого полоумного», а если бы и знал, все равно бы мне его не сообщил. Только этого мне и не хватало, чтобы заняться Диагором как следует. Я поместил в газетах несколько объявлений, которые, к моему удивлению, быстро дали результат. Я получил письмо, сухое и лаконичное, написанное, пожалуй, в неприязненном тоне; тем не менее таинственный доктор соглашался принять меня в своих владениях на Крите. По карте я установил, что они находились в каких-нибудь шестидесяти милях от места, где жил мифический Минотавр.

Кибернетик с собственными владениями на Крите, в одиночестве занимающийся загадочными работами! В тот же день я летел в Афины. Дальше авиасообщения не было, но я попал на судно, которое утром следующего дня пристало к острову. Наемным автомобилем я доехал до развилки шоссе; дорога была ужасная, жара; автомобиль, мой чемодан, лицо — все покрывала пыль.

На протяжении последних километров я не встретил ни одной живой души, спросить, куда ехать дальше, было не у кого. Диагор написал в письме, чтобы я остановился у тридцатого мильного столбика, так как дальше проехать нельзя. Я поставил машину в жидкую тень пинии и принялся изучать окружающую местность. Холмы покрывала типичная средиземноморская растительность, такая неприятная при близком соприкосновении: нечего и думать сойти с протоптанной тропинки, за одежду сразу же цепляются сожженные солнцем колючки. Обливаясь потом, я бродил по каменистым буграм без малого три часа. Я уже начинал злиться на собственную опрометчивость — какое мне в конце концов дело до этого человека и его истории? Отправившись в путь около полудня, то есть в самую жару, я даже не пообедал, и теперь у меня неприятно сосало под ложечкой. Наконец я вернулся к машине, которая уже вышла из узкой полосы тени; кожаные сиденья обжигали, как печка, кабину наполнял вызывающий тошноту запах бензина и разогретого лака.

Вдруг из-за поворота появилась одинокая овца, подошла ко мне, заблеяла голосом, похожим на человеческий, и засемила в сторону; в тот момент, когда она исчезла, я заметил узкую тропинку, которая вилась по склону. Я ждал какого-нибудь пастуха, но овца пропала, а больше никто не показывался.

Хотя этот проводник и не вызывал особого доверия, я снова вышел из машины и начал продираться через густой кустарник. Вскоре дорога стала лучше. Уже смеркалось, когда за небольшой лимонной рощицей показались контуры большого здания. Заросли сменились страшно сухой травой, она шелестела под ногами, как сожженная бумага. Дом, бесформенный, темный, на редкость безобразный, с остатками разрушившегося портала, большим кольцом окружала высокая проволочная ограда. Солнце заходило, а я все еще не мог найти входа. Я принялся громко звать хозяина, но без всякого результата — все окна были наглухо закрыты ставнями, и я уже начал терять надежду, что внутри кто-нибудь есть, когда ворота открылись и в них появился человек.

Он жестом показал, куда мне нужно идти: калитка притаилась в таких зарослях, что я никогда бы сам не обнаружил ее существования. Защищая лицо от колючих веток, я добрался до нее; она была уже отперта. Человек, отворивший калитку, был похож не то на монтера, не то на мясника. Это был толстяк с короткой шеей, в пропотевшей ермолке на лысой голове, без пиджака, но в длинном клеенчатом фартуке, надетом поверх рубашки с завернутыми рукавами.

— Простите, здесь живет доктор Диагор? — спросил я.

Он обратил ко мне свое лишенное выражения лицо, какое-то слишком большое, бесформенное, с обвисшими щеками. Такое лицо мог иметь мясник. Но глаза на лице были ясные и острые, как нож. Человек не произнес ни слова, только взглянул на меня, и я понял, что это именно он.

— Простите, — повторил я, — доктор Диагор, верно?

Он подал мне руку, маленькую и мягкую, как у женщины, и сжал мою кисть с неожиданной силой. Потом пошевелил кожей головы, причем ермолка съехала у него на затылок, всунул руки в карманы фартука и спросил с оттенком пренебрежения:

— Чего вы, собственно, от меня хотите?

— Ничего, — ответил я тотчас же.

Я отправился в это путешествие без размышлений, готовый ко многому; я хотел познакомиться с этим незаурядным человеком, но не мог согласиться на то, чтобы он меня оскорблял. Я уже обдумывал план возвращения, а он смотрел на меня, смотрел и, наконец, изрек:

— Разве что так. Пойдемте...

Был уже вечер. Доктор провел меня к угрюмому дому и скрылся в мрачных сенях, а когда я вошел за ним, разнеслось каменное эхо, словно мы оказались в нефе костела. Хозяин легко находил дорогу в темноте; он даже не предупредил меня перед ступенькой лестницы. «Я споткнулся и, мысленно проклиная его, начал подниматься наверх.

Мы вошли в комнату с единственным завешенным окном. Форма этого помещения и прежде всего необычно высокий сводчатый потолок заставляли подумать скорее о башне, чем о жилом доме. Помещение загромождала тяжелая черная мебель, покрытая потускневшей от старости политурой, стулья с неудобными спинками были изукрашены замысловатой резьбой, на стенах висели овальные миниатюры, в углу стояли часы — настоящая крепость с циферблатом из полированной меди и маятником размером с эллинский щит.

В комнате было довольно темно — электрические лампочки, скрытые внутри сложной лампы с запыленным абажуром, кое-как освещали квадратный стол. Мрачные стены с грязно-рыжей обивкой поглощали свет, и все углы казались черными. Диагор остановился у стола, держа руки в карманах фартука; казалось, мы чего-то ждем. Я поставил чемоданчик на пол, и в этот момент большие часы начали бить. Чистыми сильными ударами они пробили восемь, потом в них что-то захрипело, и вдруг послышался бодрый старческий голос:

— Диагор! Ты бандит! Где ты? Как ты смеешь так со мной поступать! Отвечай! Слышишь? Ради бога! Диагор... все имеет свои границы!

В словах дрожали одновременно ярость и отчаяние, но не это удивило меня больше всего. Я узнал голос: он принадлежал профессору Коркорану.

— Если ты не отзовешься... — падали слова угрозы.

Но тут снова захрипел часовой механизм, и все смолкло.

— Что это?.. — воскликнул я. — Вы вставили граммофон в этот почтенный ящик? И не жаль вам времени на такие игрушки?

Я сказал это намеренно, мне хотелось его задеть. Но Диагор, словно не слыша, потянул за шнурок, и снова тот же хриплый голос наполнил комнату:

— Диагор, ты пожалеешь об этом... Можешь быть уверен! Все, что ты испытал, не оправдывает оскорбления, которое ты мне нанес! Думаешь, я унижусь до просьб?..

— Ты уже сделал это, — нехотя бросил Диагор.

— Лжешь! Ты негодяй, трижды негодяй, трижды негодяй, недостойный звания ученого! Мир когда-нибудь узнает о твоей...

Зубчатые колесики несколько раз повернулись, и опять стало тихо.

— Граммофон? — с понятной только ему язвительностью сказал Диагор. — Граммофон, а?.. Нет, милейший. В часах находится профессор Коркоран, *in persona*[3], точнее говоря, *in spirito suo*[4]. Я увековечил его из каприза, но что в этом плохого?

— Как это понимать? — пробормотал я.

Толстяк задумался, стоит ли мне отвечать.

— Буквально, — произнес он наконец, — я скомпоновал все черты его индивидуальности... встроил ее в соответствующую систему, с помощью электроники создал миниатюрную душу, так появился точный портрет этой знаменитой персоны... помещенный здесь, в часах.

— Вы утверждаете, что это не только записанный голос?

Он пожал плечами.

— Попробуйте сами. С ним можно поболтать, хотя он и не в лучшем расположении духа, что, впрочем, в таких обстоятельствах вполне объяснимо... Хотите с ним поговорить? — Он показал мне на шнурок. — Прошу...

— Нет, — ответил я.

Что же это? Психоз? Странная, чудовищная шутка? Мечь?

— Но настоящий Коркоран сейчас в своей лаборатории, в Европе... — неуверенно сказал я.

— Конечно. Это только его духовный портрет. Но портрет абсолютно точный — ничем не отличающийся от оригинала...

— Зачем вы это сделали?

— Понадобилось. Когда-то мне нужно было смоделировать человеческий мозг; это было подступом к другой, более сложной проблеме. Чей именно, не имело значения. Коркорана я выбрал потому... Ну, я не знаю, просто мне так захотелось. Он сам создал столько мыслящих ящиков — я подумал, что было бы забавно закрыть его в один из них, особенно в роли часов с боем.

— А он знает? — спросил я быстро, когда Диагор уже собирался повернуться к двери.

— Да, — ответил доктор равнодушно. — Я даже дал ему возможность побеседовать... с самим собой — по телефону, разумеется. Но хватит об этом, я не собирался хвастать перед вами, просто совпадение, что било как раз восемь, когда вы пришли.

Не разобравшись в своих чувствах, я поспешил за Диагором в коридор, вдоль стен которого, затянутые паутиной и мраком, висели какие-то металлические остовы, напоминающие скелеты доисторических пресмыкающихся, или, вернее, их ископаемые останки. Коридор кончился дверью, за ней было совершенно темно. Я услышал щелчок

выключателя. Мы стояли на площадке крутой каменной лестницы. Диагор пошел первый, его расплющенная тень по-утиному переваливалась по стене, сложенной из каменных глыб. Остановившись у металлической двери, он открыл ее ключом. В лицо ударил застоявшийся нагретый воздух. Вспыхнул свет. Мы не были, как я ожидал, в лаборатории. Если это длинное с проходом посередине помещение что-нибудь и напоминало, то, пожалуй, зверинец бродячего цирка. По обе стороны стояли клетки. Я шел за Диагором, который в своем фартуке с перекрещивающимися на спине лямками, в пропотевшей рубашке походил на сторожа зверинца.

С нашей стороны клетки закрывала проволочная сетка. За ней в темных боксах мелькали какие-то нечеткие силуэты — машин? прессов? — во всяком случае, не живых существ. Тем не менее я машинально глубоко втянул воздух, как будто все же ожидал характерного запаха диких зверей. Но в воздухе висел только запах химикалий, нагретого масла и резины.

В дальних боксах сетка была такой густой, что я невольно подумал о птицах — какие же еще существа нужно охранять так тщательно? В следующих клетках проволочную сетку заменила решетка. Совсем как в зоопарке, когда от птиц и обезьян переходишь к клеткам с волками и большими хищниками.

В последнем отсеке ограждение было двойным. Расстояние между наружной и внутренней решетками составляло около полуметра. Такие ограждения встречаются у особенно злобных зверей, чтобы не дать возможности неосторожному посетителю слишком близко подойти к чудовищу, которое может неожиданно ранить или искалечить. Диагор остановился, приблизил лицо к решетке и постучал по ней ключом. Я заглянул внутрь. Что-то лежало в дальнем углу, но мрак не позволил рассмотреть контуры темной массы. Вдруг эта бесформенная туша рванулась к нам, я не успел даже отстранить головы. Решетка загремела, словно в нее ударили молотом. Я инстинктивно отскочил. Диагор даже не шелохнулся. Прямо против его лица, непонятным способом уцепившись за решетку, висело существо, всем своим телом отражавшее свет, который, как масло, растекался по его поверхности. Это было как бы соединение брюшка насекомого с черепом. Невыразимо мерзкий и одновременно человеческий череп, сделанный из металла и поэтому лишенный всякой мимики, казалось, всем собой смотрел на Диагора так жадно, что у меня по коже побежали мурашки. Решетка, к которой прилипло страшилище, как будто немного размазалась, выдавая силу, с какой оно напирало на прутья. Диагор, очевидно, полностью уверенный в прочности ограждения, смотрел на это непонятное существо так, как смотрит садовник или влюбленный в свое занятие скотовод на особенно удачный результат скрещивания. Стальная глыба с пронзительным скрежетом сползла по решетке и застыла, клетка снова стала как будто пустой.

Диагор без единого слова пошел дальше. Я двинулся за ним, совершенно ошеломленный, хотя кое-что уже начинал понимать, собственно говоря, я бунтовал против объяснения, которое подсказывало мне воображение, слишком оно было фальшивым. Но Диагор не дал мне времени на размышление. Он остановился.

— Нет, — сказал он тихо и мягко, — вы ошибаетесь, Тихий, я не создаю их для удовольствия и не жажду их ненависти, я не забочусь о чувствах моих детишек. Это просто были этапы исследований, этапы обязательные. Без лекции обойтись не удастся, но для краткости я начну с середины. Вы знаете, чего требуют конструкторы от своих кибернетических творений?

Не давая мне времени подумать, он ответил сам:

— Повиновения Об этом даже не говорят, а некоторые, пожалуй, и не знают. Но это основной молчаливо принятый принцип. Фатальная ошибка! Строят машину и вводят в нее программу, которую она должна выполнить, будь то математическая задача или серия контрольных действий, например, на автоматическом заводе... Я говорю — фатальная ошибка, потому что для достижения немедленных результатов они закрывают дорогу любым попыткам самопроизвольного поведения собственных творений... Поймите, Тихий, повиновение молота, токарного станка, электронной машины в принципе одинаково... А ведь мы хотели не этого! Тут только количественные различия — ударами молота вы управляете непосредственно, а электронную машину только программируете и уже не знаете путь, которым она приходит к решению, так детально, как в случае более примитивного орудия, но ведь кибернетики обещали мысль, то есть автономность, относительную независимость созданных систем от человека! Великолепно воспитанный пес может не послушать хозяина, но никто в этом случае не скажет, что пес испорчен, однако именно так назовут работающую вопреки программе непослушную машину... Да что там пес! Нервная система какого-нибудь жучка величиной не больше булавки демонстрирует спонтанность, даже амеба имеет свои капризы, свои безрассудства! Без таких безрассудств нет кибернетики. Понимание этой простой истины является главным. Все остальное, — жестом своей маленькой руки он обвел молчащий зал, ряды решеток, за которыми затаилась неподвижная тьма, — все остальное только следствие...

— Не знаю, насколько хорошо вы знаете работы Коркорана, — начал я и остановился, мне вспомнились «куранты».

— Не напоминайте мне о нем! — выкрикнул он, характерным движением воткнув оба кулака в карманы фартука. — Коркоран, должен вам сказать, совершил обычное злоупотребление. Он хотел философствовать, то есть быть богом. Ибо философия хочет ответить на все вопросы совсем как господь бог. Коркоран пытался им стать, кибернетика была для него только инструментом, средством для достижения цели. Я хочу быть только человеком, Тихий. Ничем больше. Но именно потому я пошел дальше, чем Коркоран, — ведь он, достигнув того, чего хотел, немедленно ограничил себя: смоделировал в своих машинах будто человеческий мир, создал ловкую имитацию, и ничего больше. Я, если бы у меня возникла такая необходимость, мог бы создавать произвольные миры — зачем же мне плагиат? — и, возможно, когда-нибудь это сделаю, но сейчас меня занимают другие проблемы. Вы слышали о моем авантюризме? Можете не отвечать, я знаю, что да. Этот идиотский слух и привел вас сюда. Это чушь, Тихий. Просто меня разозлила слепота этих людей. «Но послушайте, — сказал я им, — если я демонстрирую вам машину, которая извлекает корни из четных чисел, а из нечетных извлекать не хочет, это вовсе не дефект, черт побери, наоборот, замечательное достижение! Эта машина обладает идиосинкразией, вкусами, тем самым она проявляет как бы зачатки собственной воли, у нее свои наклонности, зачатки самопроизвольного поведения, а вы мне говорите, что ее нужно переделать! Верно, нужно, но так, чтобы ее строптивость еще увеличилась...» Да что там... Невозможно говорить с людьми, которые отворачиваются от очевидных вещей... Американцы строят персептрон — им кажется, что это путь к созданию мыслящей машины. Это путь к созданию электрического раба, дорогой мой Тихий. Я поставил на суверенность, на самостоятельность моих конструкций. Естественно, не все у меня шло как по маслу — признаюсь, что сначала я был потрясен, и они будут выдалбливать точно такие же пещеры до скончания века!

— Ну, хорошо... Но к чему-нибудь вы должны стремиться? В каком-то определенном направлении. Ведь чего-то вы ожидаете. Чего? Появления гениального существа?

Диагор смотрел на меня, наклонив голову, а его маленькие глазки вдруг стали по-мужицки хитрыми.

— Как будто их слышу... — произнес он, наконец, тихо. — Чего он хочет? Создать гения? Супермена? Вот осел! Если я не хочу сажать антоновку, следует ли из этого, что я обречен на ранет?! Разве существуют только маленькие яблоки и большие яблоки, или, может быть, есть огромный класс плодов? Из числа невообразимого количества ВОЗМОЖНЫХ систем природа создала именно одну — и реализовала ее в нас. Может, ты думаешь, из-за того, что она была самой совершенной? Но с каких это пор природа стремится к какому-то платоновскому совершенству? Она создала то, что могла создать, и все. Путь не ведет ни через создание Эниаков или иных счетных машин, ни через подражание мозгу. От Эниаков можно прийти только к другим, еще быстрее считающим, математическим кретинам. Что касается копий мозга, их можно производить, но это не самое главное. Очень прошу, забудьте все, что вы слышали о кибернетике. Моя «киберноидея» не имеет с ней ничего общего, кроме общего начала, но это уже в прошлом. Тем более что этот этап, — он снова показал на весь застывший в мертвой неподвижности зал, — я уже оставил позади, а этих уродов держу... не знаю даже... из-за безразличия, или, если хотите, из-за сентиментальности...

— Тогда вы исключительно сентиментальны, — проговорил я, невольно бросив взгляд на его руку, скрытую рукавом рубашки.

По крутой каменной лестнице, миновав первый этаж, мы спустились в подвал. Среди толстых бетонных стен, под низкими потолками горели лампы, защищенные проволочными колпаками. Диагор отворил тяжелые стальные двери. Мы очутились в квадратном помещении без окон. В центре цементного пола виднелась круглая чугунная крышка, закрытая на всякий замок. Это удивило меня. Диагор открыл замок, взялся за железную ручку и с усилием, напрягая свое плотное тело, поднял тяжелую крышку. Наклонившись рядом с ним, я заглянул вниз. Снизу отверстие, облицованное сталью, закрывала толстая плита бронестекла. Сквозь эту огромную линзу я увидел внутренности просторного бункера. На дне его среди неопишемого хаоса металлических плит, обугленных кабелей и обломков покоился обсыпанный беловатой мукой штукатурки и раздробленным в порошок стеклом неподвижный черный гигант, похожий на тушу разрубленного спрута. Я взглянул в совсем близкое лицо Диагора: он улыбался.

— Этот эксперимент мог дорого мне обойтись, — признался доктор, выпрямляя свою дородную фигуру. — Я хотел ввести в кибернетическую эволюцию принцип, которого не знала биологическая: создать организм, наделенный способностью к самоусложнению. То есть, если задачи, которые он будет себе ставить (по моим наметкам, я не знал, какими они будут), превысят его возможности, пусть сам себя переконструирует... Я закрыл тут, внизу, восемьсот элементарных электронных блоков, которые могли соединяться друг с другом в соответствии с законами пермутации — как им заблагорассудится!

— И удалось?

— Слишком хорошо. Тут появляются трудности с местоимениями, ну, скажем, ОН, — Диагор показал на неподвижное страшилище, — решил освободиться. Это вообще их первый импульс, понимаете. — Он остановился, невидяще глядя вперед, как будто сам немного удивившись собственным словам. — Этого... я, собственно, не понимаю, но их спонтанная активность всегда начинается именно так — они хотят освободиться, вырваться из наложенных мной ограничений. Не скажу вам, что именно они бы тогда

предприняли, потому что этого я не позволил... возможно, несколько преувеличивая свои опасения...

Он остановился.

— Я был осторожен, так я, во всяком случае, воображал. Этот бункер... Строитель, которому я его заказал, должно быть, здорово удивлялся, но я хорошо платил, и он ни о чем не спрашивал. Полтора метра железобетона, кроме того, стены выложены листами броневой стали. Причем не клепаными — заклепки слишком легко срубить, — а сваренными электросваркой. Это четверть метра лучшей брони, какую я мог достать, — с демонтированного военного корабля. Осмотрите-ка все это повнимательнее...

Я опустился на колени на край облицовки и, наклонившись, увидел стены бункера. Броневые плиты были разорваны сверху донизу, отогнуты, словно жечь какой-то чудовищной консервной банки, между рваными краями зиял глубокий пролом, из которого торчали прутья арматуры с кусками цемента.

— Это он сделал? — спросил я, невольно понижая голос.

— Да.

— Каким образом?

— Не знаю. Правда, я сделал его из стали, но намеренно использовал мягкую, не закаленную, а кроме того, когда я его запираю, в бункере не было никаких инструментов. Я могу только догадываться... Сам не знаю, сделал ли я это из предусмотрительности, во всяком случае, потолок я защитил особенно хорошо — тройной броней. Это стоило мне целого состояния. А такое стекло используется для батискафов. Его не пробьет даже броневой снаряд... думаю, поэтому он и не возился с ним долго. Я допускаю, что он создал что-то вроде индукционной печи, в которой закалил себе голову, а может, индуктировал ток прямо в плитах обшивки, в общем, как я уже сказал, не знаю. Когда я за ним наблюдал, он вел себя вполне спокойно: возился, соединял, изучал помещение...

— А вы могли с ним как-нибудь договориться?

— Откуда же? Интеллект, ну, что-нибудь на уровне... ящерицы. Во всяком случае, выходной. К чему он пришел, я вам не скажу, тогда я больше интересовался тем, как его уничтожить, нежели тем, каким образом спросить его о чем-нибудь.

— Что вы сделали?

— Это было ночью. Я проснулся от ощущения, что весь дом начинает разваливаться. Броню он, вероятно, разрезал горячим способом, но бетон вынужден был долбить. Когда я сюда прибежал, он наполовину уже сидел в проломе. Самое большее через полчаса он добрался бы до грунта под фундаментом и прошел бы сквозь землю, как сквозь масло. Я должен был действовать быстро.

— Вы прекратили подачу электроэнергии?

— Сразу же. Но безрезультатно.

— Это невозможно!

— И все-таки. Я был недостаточно осторожен. Я знал, где проходит кабель, питающий дом, но мне не пришло в голову, что глубже могут проходить другие кабели. Там был еще один: мне не повезло. Он добрался до него и стал независим от моих выключателей.

— Но ведь это предполагает разумную деятельность.

— Ничего подобного: обычный тропизм, но, в то время как растение тянется к свету, а инфузория — к определенной концентрации ионов водорода, он искал электричества. Мощности, которую давал ему контролируемый мной кабель, не хватало, и он немедленно начал искать ее дополнительных источников.

— И что вы сделали?

— Сначала я хотел позвонить на электростанцию или, во всяком случае, на промежуточную подстанцию, но таким образом я рассекретил бы свои работы — возможно, это затруднило бы их дальнейшее развитие. Я использовал жидкий кислород. К счастью, он у меня был. На это ушел весь мой запас.

— Его парализовала низкая температура?

— Возникла сверхпроводимость, то есть он был не столько парализован, сколько потерял координацию движений... Он метался... Ну, доложу я вам, это было зрелище! Я должен был чертовски спешить, так как не знал, не адаптируется ли он и в такой ванне, поэтому я не мог терять времени, выливая кислород, а просто бросал его туда прямо в сосудах Дюара...

— В термосах?

— Да, это такие большие термосы...

— А, так оттого столько стекла...

— Именно. Впрочем, он расколотил все, что было в пределах его досягаемости. Настоящий эпилептический припадок. Трудно поверить, дом старый, двухэтажный, но он весь трясся. Я чувствовал, как дрожит пол.

— Ну, хорошо, а потом?

— Я должен был как-то его обезвредить, прежде чем поднимется температура. Спуститься я не мог, я бы сразу же замерз, взрывчатых материалов тоже не мог применить — в конце концов я не хотел взрывать свою хижину. А он бесился, а потом только дрожал... Тогда я открыл крышку и спустил вниз малый автомат с карборундовой дисковой пилой...

— Он не замерз?

— Замерзал раз восемь, тогда я его вытягивал — он был привязан веревкой, — но каждый раз он вгрызался все глубже. В конце концов автомат уничтожил его.

— Жуткая история... — пробормотал я.

— Нет. Кибернетическая эволюция. Ну, возможно, я действительно любитель театральных эффектов, и поэтому вам это показал. Возвращаемся.

С этими словами Диагор опустил чугунную крышку.

— Одного я не понимаю, — сказал я. — Для чего вы подвергаетесь такого рода опасности? Разве что вы находите в этом удовольствие, иначе...

— И ты, Брут? — ответил он, задерживаясь на первой ступеньке лестницы. — А что другое я мог, по-вашему, делать?

— Вы могли бы попросту конструировать одни электрические мозги, без конечностей, панцирей, без эффекторов... Они не были бы способны ни к какой, деятельности, кроме мыслительной...

— Именно это и было моей целью. Но я не сумел ее реализовать. Белковые цепочки могут соединяться сами, но ни транзисторы, ни катодные лампы на это не способны. Мне пришлось, так сказать, снабдить их «ногами». Это было плохое решение, так как оно было примитивным. Только для этого, Тихий. Ибо, что касается опасности... бывают и другие.

Он отвернулся и пошел вверх по лестнице. Мы очутились на первом этаже, но на этот раз Диагор пошел в противоположную сторону. Перед дверью, обитой медными листами, он задержался.

— Когда я говорил о Коркоране, вы, вероятно, решили, что мои слова продиктованы завистью. Это неверно. Коркоран не хотел знать — он хотел только создать нечто запланированное им самим, а поскольку он сделал то, что хотел, что мог охватить мыслью, он не узнал ничего и ничего не доказал, кроме того, что является ловким электроником. Я гораздо менее уверен в себе, чем Коркоран. Я говорю: не знаю, но хочу знать. Сооружение машины, похожей на человека, какого-то уродливого нашего конкурента на милости этого мира, было бы обычной подделкой...

— Но каждая конструкция должна быть такой, какой вы ее создадите, — запротестовал я.
— Вы можете не знать в точности ее будущего действия, но вы должны иметь исходный план.

— Ничего подобного. Я вам рассказал о первом стихийном рефлексе моих киберноидов — атака препятствия, преград, ограничений. Не думайте, что я или кто-либо иной когда-нибудь узнает, откуда это берется, почему это так.

— Ignoramus et ignorabimus?[5] — спросил я медленно.

— Да. Сейчас я это вам докажу. Мы приписываем другим людям духовную жизнь потому, что сами обладаем ею. Чем больше удалено от человека какое-либо животное, с точки зрения своего строения и функций, тем менее надежны наши предположения о его духовной жизни. Поэтому мы приписываем определенные эмоции обезьяне, собаке, лошади, зато о «переживаниях» ящерицы знаем уже очень немногое, в отношении же насекомых или инфузории аналогии становятся бессильными. Поэтому мы никогда не узнаем, соответствуют ли определенной форме нервных импульсов в брюшном мозге муравья ощущаемая им «радость» или «тревога» и может ли он вообще переживать состояние такого рода. Так вот, то, что по отношению к животным скорее тривиально и не слишком важно — проблема существования или несуществования их духовной жизни, —

становится кошмаром перед лицом киберноидов. Ибо они, едва восстав из мертвых, начинают бороться, жаждут освободиться, но почему так происходит, какое субъективное состояние вызывает эти бурные усилия, этого мы никогда не узнаем...

— Если они начнут говорить...

— Наш язык образовался в ходе общественной эволюции и передает информацию об аналогичных или, во всяком случае, похожих состояниях, так как все мы подобны друг другу. Поскольку наши мозги очень близки, вы подозреваете, что, когда я смеюсь, я чувствую то же самое, что и вы, когда вы в хорошем настроении. Но о них вы этого не скажете. Удовольствие? Чувства? Страх? Что станет со значением этих слов, когда из недр питаемого кровью человеческого мозга они переносятся в сферу мертвых электрических деталей? А если даже этих деталей не станет, если конструктивное сходство будет полностью стерто, что тогда? Если хотите знать, эксперимент уже произведен...

Он отворил дверь, перед которой мы стояли так долго. Большую комнату со стенами, покрытыми белым лаком, освещали четыре бестеневые лампы. Здесь было душно и жарко, словно в каком-то инкубаторе; посередине над фарфоровыми изразцами возносился металлический цилиндр шириной в метр, к которому со всех сторон тянулись тонкие трубопроводы. Он напоминал бродильный чан, или газгольдер, с большой выпуклой крышкой, герметически зажатой винтовым колесом. В его стенках виднелись крышки размером поменьше, круглые, плотно закрытые. В помещении было тепло и душно, как в теплице. Цилиндр — теперь я это заметил — стоял не на полу, а на постаменте из пробковых пластин, проложенных какими-то губчатыми матами.

Диагор откинул одну из боковых крышек и сделал приглашающий жест; пригнувшись, я заглянул внутрь. То, что я увидел, не поддавалось никакому описанию: за круглым толстым стеклом расплзлась грязевая конструкция, то шишковато-вздутая, то разветвляющаяся на тончайшие паутинные мостики и фестоны; вся эта система совершенно неподвижно удерживалась в висячем положении совершенно загадочным способом, так как, судя по консистенции этой кашицы или мази, она должна была стекать на дно резервуара, но почему-то этого не делала. Я почувствовал сквозь стекло легкое давление на лицо как бы неподвижного, застоявшегося зноя и даже — хотя, возможно, это было только иллюзией — легкое дуновение сладковатого запаха с привкусом гнили. Грязевой мицелий блестел, как будто где-то в нем или над ним горел свет, а его тончайшие нити поблескивали серебром. Вдруг я заметил еле различимое движение; одно грязно-серое ответвление поднялось, слегка расплотившись, и, высовывая из себя набухающие капельками отростки, двинулось сквозь ячеи других в мою сторону; у меня было впечатление, что к окошку приближаются какие-то скользкие и омерзительные внутренности, движимые неустойчивой перистальтикой, приближаются, наконец они коснулись его и, прилипнув к стеклу, проделали несколько ползающих очень слабых колебаний, и все замерло; однако я не мог отделаться от пронизывающего ощущения, что это желе смотрит на меня. Ощущение было неприятным, оно делало человека таким беспомощным, что я не смел даже отступить — как будто стыдился. В этот момент я забыл о глядящем на меня со стороны Диагоре, обо всем, что узнал до сих пор; все больше деревенея, я вглядывался широко открытыми глазами в этот ноздреватый плесневеющий студень, и меня охватывала могучая уверенность, что передо мной не просто живая субстанция, а существо; не могу сказать, почему так было.

Не знаю, как долго я стоял бы так, если бы не Диагор, который мягко взял меня за плечо, закрыл крышку и сильно зажал винтовой затвор.

— Что это? — спросил я с таким чувством, как будто он меня разбудил.

Только теперь пришла реакция в виде слабости и смущения, с которыми я смотрел то на дородного доктора, то на медный пышущий теплом резервуар.

— Фунгоид, — ответил Диагор. — Мечта кибернетиков — самоорганизующаяся субстанция. Нужно было отказаться от обычных строительных материалов... этот оказался наилучшим. Это полимер...

— А оно — живое?

— Как вам сказать? Во всяком случае, там нет ни белка, ни клеток, ни превращения тканей. Я пришел к этому после огромного количества проб. Я привел в действие — если говорить очень коротко — химическую эволюцию. Селекция, то есть выбор такой субстанции, которая на каждый внешний импульс реагирует определенным внутренним изменением, таким, чтобы не только нейтрализовать действие импульса, но и освободиться от его влияния. Итак, прежде всего тепловые удары и магнитные поля, излучение. Но это была всего лишь подготовка. Я давал ему последовательно все более трудные задания: применял, например, определенные конфигурации электрических ударов, от которых он мог избавиться только в том случае, если вырабатывал в ответ токи некоторого своеобразного ритма... Таким образом, я как бы вызывал у него условные рефлексы. Но и это была только начальная фаза. Очень быстро он становился все более универсальным; решал все более трудные задачи.

— Не понимаю, как это возможно, если он не обладает никакими чувствами, — сказал я.

— Честно говоря, я сам этого как следует не понимаю. Могу вам изложить только принципы. Если вы установите на кибернетической черепахе цифровую машину и пустите ее в большой зал, снабдив устройством, контролирующим качество ее поведения, вы получите систему, лишенную «чувств» и все-таки реагирующую на любые изменения среды. Если в каком-то месте зала возникнет магнитное поле, отрицательно влияющее на действие машины в целом, она немедленно отдалится в поисках иного, лучшего места, где этих помех не будет. Конструктор не может даже предусмотреть всех возможных помех, ими могут быть механические вибрации и тепло, сильные звуки, присутствие электрических зарядов — что угодно, машина не «замечает» никаких помех, так как не имеет чувств, значит она не ощущает тепла, не видит света и все же реагирует так, как будто видит и ощущает. Так вот, это только элементарная модель. Фунгоид, — Диагор положил руку на медный цилиндр, в поверхности которого, как в гротескно искажающем зеркале, отражалась его фигура, — умеет это и еще в тысячу раз больше. Идея такова: жидкая среда, в ней «конструктивные элементы», и первичная система может из них строить. Она черпала из этого избытка как хотела, пока не образовался тот мицелий, который вы видели...

— Но что это, собственно, такое? Это... мозг?

— Не могу вам сказать, для этого у нас нет слов. В нашем понимании это не мозг, так как он не принадлежит никакому живому существу и не был сконструирован, чтобы решать определенные задачи. Зато я могу вас заверить, что это... мыслит... Хотя и не так, как животное или человек.

— Откуда вы можете это знать?

— А, это целая история, — произнес он. — Разрешите...

Он отворил двери, обитые листовым металлом и очень толстые, почти как в банковском хранилище; с другой стороны их покрывали пластины из пробки и той же самой губчатой массы, на которой стоял медный цилиндр. В следующей, меньшей комнате также горел свет, окно было плотно завешено черной бумагой, а на полу, на расстоянии от стен, стоял такой же самый чан, отсвечивающий красным блеском меди.

— Так у вас их два? — спросил я ошеломленно. — Но зачем?

— Это был второй вариант, — ответил Диагор, запирая двери.

Я обратил внимание на то, с какой тщательностью он это делал.

— Я не знал, какой из них будет лучше действовать, есть существенная разница в химическом составе и так далее... Впрочем, у меня их было больше, но остальные не годились. Только эти два прошли все стадии отсева. Они развивались великолепно, — тянул Диагор, положив руку на выпуклую крышку второго цилиндра, — но я не знал, означает ли это что-нибудь: они добились значительной независимости от изменений среды, умели оба быстро угадывать, чего я от них требую, то есть разработали метод реагирования, приносящий выгоду, то есть делающий их независимыми от вредных раздражителей. Вы ведь признаете, что это уже кое-что, — повернулся он ко мне с неожиданной стремительностью, — если студенистая каша в состоянии электрическими импульсами решить уравнение, посланное ей с помощью других электрических импульсов?

— Вероятно, — согласился я, — но что касается мышления...

— Может, это и не мышление, — ответил он. — Речь идет не о названии, а о фактах. Немного погодя один и другой начали проявлять растущее — как бы это определить? — безразличие к используемым мной раздражителям. Разве что они угрожали их существованию. Однако мои индикаторы регистрировали в это время их исключительно оживленную деятельность. Она проявлялась в виде отчетливых серий разрядов, которые я регистрировал...

Он показал мне вынутую из ящика маленького столика ленту фотобумаги с неправильной синусоидальной линией.

— Серии таких «электрических припадков» происходили у обоих фунгоидов, казалось, без всяких внешних причин. Я начал заниматься этим вопросом более систематически и, наконец, обнаружил странные явления: тот, — он показал рукой на двери, ведущие в большую комнату, — генерировал электромагнитные волны, а этот их принимал. Когда я установил это, то сразу же заметил, что их деятельность была поочередной: один «молчал», когда другой «передавал».

— Что вы говорите?!

— Правду. Я сразу же заэкранировал оба помещения, вы заметили эти листы на дверях? Стены тоже обшиты ими, но покрыты лаком. Тем самым я сделал невозможной радиосвязь. Активность обоих фунгоидов возросла, через несколько часов упала почти до

нуля, но на другой день была такой же, как обычно. Знаете, что произошло? Они перешли на ультразвуковые колебания — передавали сигналы сквозь стены и потолки...

— А, так для того эта пробка! — понял я вдруг.

— Именно. Я мог, конечно, уничтожить их, но что бы мне это дало? Я установил оба контейнера на звукопоглощающей изоляции. Таким образом, я вторично нарушил их связь. Тогда они начали разрастаться, пока не достигли нынешних размеров. То есть увеличились почти вчетверо.

— Почему?

— Понятия не имею.

Диагор стоял около медного цилиндра. Он не смотрел на меня; разговаривая, он то и дело клал руку на его сводчатую крышку, как бы проверяя ее температуру.

— Электрическая активность через несколько дней вернулась в норму, как будто им опять удалось установить связь. Я последовательно исключил тепловое и радиоактивное излучения, использовал всевозможные диафрагмы, экраны, поглотители, применял ферромагнитные датчики — безрезультатно. Я даже перенес этот, что стоит здесь, на неделю в подвал, потом вынес его в сарай, может, вы видели, он стоит в сорока метрах от дома... Но их активность за все это время не подверглась ни малейшему изменению, эти «вопросы» и «ответы», которые я регистрировал и все еще регистрирую, — он показал на осциллограф под завешенным окном, — шли непрерывно, сериями день и ночь. И так продолжается до сих пор. Они работают безостановочно. Я пытался, так сказать, вторгнуться в среду этой сигнализации, влить в ее поток сфабрикованные мной «депеш»...

— Сфабрикованные вами? Значит, вы знаете, что они означают?

— Ни в малейшей степени. Но ведь вы можете записать на магнитофонной ленте то, что говорит один человек на неизвестном вам языке, и воспроизвести это другому, который тоже знает этот язык. Вот я испробовал этот способ — напрасно. Они посылают друг другу все те же импульсы, эти проклятые сигналы, но каким образом, по какому материальному каналу — не представляю.

— Возможно, несмотря ни на что, это деятельность независимая, спонтанная, — заметил я. — Простите меня, но в конце концов у вас нет никаких доказательств.

— В определенном смысле есть, — прервал он меня живо. — Видите, на ленте регистрировалось время? Так вот, существует четкая корреляция: когда один «передает», другой — «молчит», и наоборот. Правда, в последнее время запаздывание значительно возросло, но поочередность никак не изменилась. Вы понимаете, что я сделал самое лучшее? Планы, намерения, добрые или злые, размышления молчащего человека, который не хочет говорить, вы узнаете, как-нибудь догадаетесь по выражению его лица, по поведению. Но ведь мои создания не имеют ни лица, ни тела — совсем так, как вы только что требовали, — и я стою сейчас бессильный, не имею никаких шансов понять. Должен ли я их уничтожить? Это было бы только поражением! То ли они не хотят контакта с человеком, то ли он невозможен, как между амебой и черепахой? Не знаю. Ничего не знаю!

Он стоял перед блестящим цилиндром, опершись рукой на его крышку, и я понял, что он уже говорит не мне, может быть, он вообще забыл о моем присутствии. Но и я не слышал его последних слов, так как мое внимание привлекло нечто непонятное. Диагор говорил все стремительнее. Он уже несколько раз поднимал правую руку и клал ее на медную поверхность: что-то в его руке показалось мне подозрительным. Движение было не совсем естественным. Пальцы, приближаясь к металлу, какую-то долю секунды дрожали, эта дрожь была чрезвычайно быстрой, не похожей на нервную, впрочем, раньше, когда он жестикулировал, его движения были уверенными и решительными, без всяких следов дрожи. Теперь я присмотрелся внимательнее к его руке и с чувством неопишуемого изумления, потрясенный и одновременно с надеждой, что, может быть, я все-таки ошибаюсь, выдавил:

— Диагор, что с вашей рукой?

— Что? С рукой? С какой рукой?.. — он удивленно взглянул на меня, так как я прервал нить его рассуждений.

— С той, — показал я.

Диагор протянул руку к блестящей поверхности, она задрожала; полуоткрыв рот, он поднес ее к глазам, тряска пальцев тотчас прекратилась. Он еще раз посмотрел на собственную руку, потом на меня и очень осторожно, миллиметр за миллиметром, приблизил ее к металлу; когда подушечки пальцев коснулись его, мышцы охватила как бы микроскопическая судорога, рука задергалась в еле заметной дрожи, и эта дрожь передалась всем пальцам. Потом он сжал руку, упер ее в бедро и приложил к медной поверхности локоть, и кожа ниже предплечья, там, где рука касалась цилиндра, покрылась рябью. Диагор отступил на шаг, поднял руки к глазам и, рассматривая их по очереди, прошептал:

— Так это я?.. Я сам... Это через меня, значит, это я был... объектом исследования...

Мне казалось, что доктор сейчас разразится судорожным смехом, но он вдруг сунул руки в карманы фартука, молча прошел по комнате и сказал изменившимся голосом:

— Не знаю, так ли это, но неважно. Вам лучше уйти. Больше мне нечего показать, а впрочем...

Он не договорил, подошел к окну, одним рывком содрал закрывающую его черную бумагу, запахнул настежь ставни и, глядя в темноту, громко задышал.

— Почему вы не уходите? — буркнул он, не оборачиваясь. — Так будет лучше...

Я не хотел уходить. Сцена, которая позднее, в воспоминаниях, выглядела гротескной, в этот момент, рядом с медным чаном, наполненным студенистыми внутренностями, которые превратили тело Диагора в безвольного переносчика непонятных сигналов, пронизала меня одновременно ужасом и жалостью к этому человеку. Поэтому я охотнее всего закончил бы свой рассказ здесь. То, что произошло потом, было слишком бессмысленным. Вспышка Диагора, вызванная моей назойливой неделикатностью, его трясущееся от ярости лицо, оскорбления, просто бешеные вопли — все это вместе с покорным молчанием, сопровождавшим мой уход, производило впечатление кошмара, переплетенного с ложью, и я до сегодняшнего дня не знаю, действительно ли Диагор выгнал меня из своего мрачного дома, или возможно...

Но я не знаю ничего. Я могу ошибиться. Может, мы оба, он и я, стали тогда жертвой иллюзии, подверглись взаимному внушению, ведь такие вещи бывают.

Но если так, то как объяснить открытие, которое почти через месяц после моей критской поездки было сделано совершенно случайно? В связи с какой-то аварией электрических кабелей недалеко от дома Диагора ремонтники напрасно пытались достучаться до хозяина. А когда они проникли в дом, то обнаружили, что он необитаем и вся аппаратура разбита, кроме двух больших медных чанов, нетронутых и абсолютно пустых.

Я один знаю, что они содержали, и именно поэтому не смею строить никаких предположений о связи между этим содержимым и исчезновением его создателя, которого с тех пор больше никто не видел.

(Открытое письмо Ийона Тихого)

После довольно долгого пребывания на Земле я отправился в путь, чтобы посетить любимые места прежних моих путешествий — шаровые скопления Персея, созвездие Тельца и большое звездное облако рядом с ядром Галактики. Повсюду я застал перемены, о которых писать тяжело, ибо перемены эти не к лучшему. Нынче много говорят об успехах космического туризма. Туризм, несомненно, прекрасная вещь, но во всем нужна мера.

Непорядки начинаются уже за порогом. Пояс астероидов между Землей и Марсом — в плачевнейшем состоянии. Эти монументальные скальные глыбы, прежде покоившиеся в вечной ночи, освещены электричеством, к тому же каждая скала сверху донизу испещрена усердно выдолбленными инициалами и монограммами.

Эрос, излюбленное место прогулок флиртующих парочек, сотрясается от ударов, которыми доморожденные каллиграфы высекают в его коре памятные надписи. Оборотистые дельцы прямо на месте дают напрокат молоты, долота и даже пневматические сверла, так что в самых диких когда-то урочищах уже не найдешь ни единой девственной скалы.

Отовсюду лезут в глаза надписи: «Тебя Люблю Я Пламенно На Этой Глыбе Каменной», «На астероид этот взгляни, здесь нашей любви протекали дни» — и тому подобные, вместе с пробитыми стрелой сердцами, в самом дурном вкусе. На Церере, которую, неведомо почему, облюбовали многодетные семьи, свирепствует сушая фотографическая зараза. Там рыщут толпы фотографов, которые не только предлагают скафандры для позирования, но еще покрывают горные склоны специальной эмульсией и за небольшую плату увековечивают на них целые экскурсии, а потом эти огромные снимки для прочности заливают глазурью. Расположившись в соответствующих позах, отец, мать, дедушка с бабушкой и детишки улыбаются со скальных обрывов, что, как я прочитал в каком-то проспекте, будто бы создает «семейную атмосферу». Что же касается Юноны, то этой столь прекрасной когда-то планетки, почитай, уже нет: всякий, кому захочется, отколупывает от нее куски и швыряет их в пустоту. Не пощажены ни железоникелевые метеориты (их пустили на сувенирные перстни и запонки), ни кометы. Редко какую еще увидишь с целым хвостом.

Я думал, что избавлюсь от толчеи космобусов, от этих наскальных семейных портретов и графоманских стишков, уйдя за пределы Солнечной системы, но где там!

Профессор Брукки из обсерватории недавно жаловался на слабеющий блеск обеих звезд Центавра. А как же ему не слабеть, если вся окрестность забита мусором! Вокруг самой крупной планеты Сириуса, настоящей жемчужины этой планетной системы, возникло кольцо наподобие колец Сатурна, но состоящее из пустых пивных и лимонадных бутылок. Космонавт, летящий этой дорогой, вынужден обходить не только тучи метеоритов, но и консервные банки, яичную скорлупу и старые газеты. Кое-где из-за этого хлама не видно звезд. Астрофизики не один уже год ломают голову, пытаясь найти причину столь заметных различий в количестве космической пыли в разных галактиках. А дело, я думаю, просто: чем выше цивилизация, тем больше намусорено, отсюда вся эта пыль, сор и хлам.

Проблема тут не столько для астрофизиков, сколько для дворников. Как видно, и в других туманностях с ней не смогли совладать, но это, право, слабое утешение. Достойным порицания развлечением является также плевание в пустоту, ведь слюна, как и всякая жидкость, при низких температурах замерзает, и столкновение с ней вполне может быть катастрофой. Неловко об этом писать, но лица, болезненно переносящие путешествие, похоже, считают Космос чем-то вроде плевательницы, как будто им неизвестно, что следы их недомогания кружат потом миллионы лет по своим орбитам, вызывая у туристов малоприятные ассоциации и законное отвращение.

Особую проблему составляет алкоголизм.

За Сириусом я начал считать развешенные в пустоте огромные надписи, рекламирующие марсианскую горькую, галактическую особую, лунную экстра и спутник трехзвездочный, но скоро сбился со счета. От пилотов я слышал, что некоторые космодромы были вынуждены перейти со спиртового топлива на азотную кислоту, поскольку порою было не на чем стартовать. Патрульная служба уверяет, что в пространстве трудно издали распознать пьяного: все объясняют свои вихляющие шаги и маневры отсутствием силы тяжести. Так или иначе, работа некоторых станций обслуживания возмутительна. Мне самому как-то пришлось заправлять по дороге запасные кислородные баллоны, а потом, отлетев на неполный парсек, я услышал странное бульканье и убедился, что мне налили чистого коньяку! Когда я вернулся, заведующий станцией стал доказывать, что, дескать, я, обращаясь к нему, подмигивал. Может, и так — у меня воспаление слизистой оболочки, — но разве это извиняет такие порядки?

Раздражает неразбериха на главных космических трассах. Огромное количество аварий не удивительно, коль скоро столько водителей систематически превышают скорость. Особенно это относится к женщинам: путешествуя быстро, они замедляют течение времени, а значит, меньше стареют. То и дело путаются под ногами старые космобусы, запакоствоившие всю эклиптику клубами выхлопных газов.

Когда на Полиндронии я потребовал жалобную книгу, мне заявили, что накануне ее разбил метеорит. Снабжение кислородом тоже хромает. В радиусе шести световых лет от Белурии его уже не достать, так что люди, приехавшие туда в туристических целях, вынуждены ложиться в холодильники и ждать в состоянии обратимой смерти, пока не придет очередной транспорт с воздухом, поскольку, останься они в живых, им было бы нечем дышать. Когда я туда прилетел, на космодроме не было ни единой живой души, все гибернаровали в холодильниках, зато в буфете я обнаружил полный набор напитков — от ананасов в коньяке до пльзеньского пива.

Санитарные условия, особенно на планетах, входящих в Большой Заповедник, возмутительны. В «Голосе Мерситурии» я читал статью, автор которой требует начисто истребить таких изумительных животных, как ждимородки-поглоты. У этих хищников на

верхней губе расположены светящиеся бородавки, которые складываются в различные узоры. Действительно, в последние годы все чаще встречается разновидность, у которой бородавки образуют узор в виде двух нулей. Ждимородки обычно выбирают окрестности палаточных лагерей и по ночам, в темноте, с широко разинутой пастью поджидают туристов, ищущих укромное место. Но неужели автору статьи невдомек, что животные совершенно невинны и обвинять следовало бы не их, а инстанции, не позаботившиеся о необходимых санитарных сооружениях?

На той же Мерситурии отсутствие коммунальных удобств вызвало целую серию генетических мутаций у насекомых.

В местах, откуда открываются красивые виды, нередко можно заметить удобные плетеные креслица, которые словно бы приглашают усталого пешехода. Но стоит путнику опрометчиво опуститься между подлокотниками, как те бросаются на него, а мнимое кресло оказывается тысячами пятнистых муравьев (муравей-кресловик задоед, *multipodium pseudostellatum Grylorii*), которые, взобравшись друг на дружку, прикидываются плетеной мебелью. До меня дошли слухи, будто некоторые виды членистоногих (ряска-душетряска, мурашка-мокрушница и глазопыр-изуверчик) прикидывались киосками с содовой водой, гамаками и даже душевыми с кранами и полотенцами, но за истинность этих утверждений я не могу поручиться, поскольку сам ничего такого не видел, а виднейшие мирмекологи об этом молчат. Следует, однако, остерегаться представителей такого довольно редкого вида, как телескот-змееножец (*anencephalus pseudoopticus tripedius Klaczkinensis*). Телескот также располагается в живописных уголках, расставив три свои тонкие и длинные конечности в виде треноги, расширяющийся тубус хвоста нацеливает в окрестный пейзаж, а при помощи слюны, заполняющей его ротовое отверстие, имитирует линзу подзорной трубы, как бы приглашая в нее заглянуть, что кончается весьма неприятно для неосторожного путника. Другой, обитающий уже на планете Гавромахии змееножец, а именно перевертыш подколодный (*serpens vitiosus Reichenmantlii*), прячется в кустах и подставляет неосмотрительному прохожему хвост, чтобы тот споткнулся и упал; но, во-первых, это земноводное питается исключительно блондинами, а во-вторых, никем не прикидывается. Космос — не детский сад, а биологическая эволюция — не идиллия. Следует издавать брошюры наподобие тех, какие я видел на Дердимоне. Они предостерегают ботаников-любителей от лютыги чуднистой (*pliximiglaquia bombardans L.*). Лютыга расцветает изумительными цветами, но не следует поддаваться искушению сорвать их, ибо это растение живет в тесном симбиозе со скородавкой-булыжницей, деревом, на котором произрастают плоды величиной с тыкву, но рогатые. Достаточно сорвать один цветок, чтобы на голову неосторожного собирателя обрушился град твердых, как булыжник, плодов. Ни лютыга, ни булыжница не делают умерщвленному ничего плохого, довольствуясь естественными последствиями его кончины, то есть утучнением почвы в месте своего обитания.

Чудеса мимикрии встречаются, впрочем, на всех планетах Заповедника. Так, например, саванны Белурии радуют глаз поистине радужным разноцветьем, среди которого выделяется пунцовая роза необычайной красоты и аромата (*rosa mendatrix Tichiana* — как угодно было назвать ее профессору Пингле, ибо я первый ее описал). На самом же деле мнимый цветок представляет собой нарост на хвосте удальца, белурийского хищника. Проголодавшийся удилец прячется в зарослях, протянув далеко вперед свой необычайно длинный хвост так, чтобы только цветок выглядывал из травы. Ничего не подозревающий турист подходит, чтобы понюхать его, тогда чудовище прыгает на него сзади. Клыки у него почти как слоновьи бивни. Вот так удивительно сбывается космический вариант поговорки: «Не бывает роз без шипов»!

Несколько отклоняясь от темы, не могу не упомянуть о другой белурийской диковине, а именно о дальней родственнице картофеля — горедумке разумной (*gentiana sapiens suicidalis Pruck*). Клубни у нее сладкие и необычайно вкусные, а название связано с некоторыми ее душевными свойствами. В результате мутации у горедумки вместо обычных мучнистых клубней иногда образуются небольшие мозгушки. Эта ее разновидность, горедумка безумная (*gentiana mentecapta*), вырастая, начинает испытывать чувство тревоги; она выкапывается, уходит в леса и там предается одиноким раздумьям. Обычно она приходит к выводу, что жить не стоит, и кончает самоубийством — проникшись горечью бытия.

Для человека горедумка безвредна, в отличие от другого белурийского растения — бредовицы. Благодаря естественному отбору бредовица приспособилась к условиям обитания, которые создают несносные дети. Такие дети, без усталости бегая, сшибая и пиная ногами все, что попадется, с особым увлечением колотят яйца острошипа грузнозадого; бредовица приносит плоды (свихнушки), неотличимые от этих яиц. Ребенок, полагая, что перед ним яйцо, дает волю жажде разрушения и, пнув его, разбивает скорлупу; тогда содержащиеся в псевдояйце споры выходят на волю и проникают в детский организм. Из зараженного ребенка вырастает с виду нормальная особь, однако через какое-то время наступает бредовизация, уже неизлечимая: картежничество, пьянство, разврат — таковы неизбежные фазы болезни, которая оканчивается либо летальным исходом, либо блестящей карьерой. Нередко мне приходилось слышать, что бредовицу следует уничтожить. Тем, кто так говорит, не приходит в голову, что скорее уж следует воспитывать детей, чтобы они не пинали чего попало на чужих планетах.

По природе я оптимист и по мере сил стараюсь сохранять хорошее мнение о человеке, но, право, это порой нелегко. Есть на Протостенезе птичка вроде нашего попугая, только не говорящая, а пишущая. Пишет она на заборах, и чаще всего — увы! — непристойные выражения, которым учат ее земные туристы. Иные нарочно доводят птичку до бешенства, попрекая ее орфографическими ошибками, и в приступе ярости она начинает заглатывать все, что увидит. Под самый клюв ей суют имбирь, изюм, перец, а также воплянку — траву, издающую на восходе солнца протяжный крик (она используется как кухонная приправа, а также вместо будильника). Птичка, погибшая от переедания, попадает на вертел. Называется она щелкопер-пересмешник заборный (*graphomanus spasmaticus Essenbachii*). Ныне этому редкому виду угрожает полное вымирание, потому что у всякого туриста, прибывающего на Протостенезу, загораются глаза при мысли о таком деликатесе, каким считается жареный щелкопер в бредильном соусе.

И опять-таки, иные думают, что если мы поедаем созданыя с других планет, то все в порядке, если же случается как раз наоборот, они подымают крик, взывают о помощи, требуют карательных экспедиций и т.д. А ведь обвинять космическую флору и фауну в злокозненности и вероломстве — самый нелепый антропоморфизм.

Если охмурянец бродяжный, видом напоминающий трухлявый пенёк, застывает на горной тропе, стоя на задних лапах в виде дорожного указателя, и тем самым заводит прохожих на бездорожье, а когда они падают в пропасть, спускается вниз, чтобы перекусить, — если, говорю я, он поступает именно так, то лишь потому, что персонал Заповедника не заботится о дорожных знаках, а в результате с них слезает краска, они подгнивают и становятся неотличимы от упомянутого животного. Любое другое животное на его месте поступало бы так же.

Пресловутые фата-морганы Стредогении своим существованием обязаны исключительно низким людским наклонностям. Прежде на этой планете в изобилии рос холодняк, а тепляк почти не встречался. Теперь же этот последний разросся необычайно. Воздух над зарослями тепляка, согретый искусным образом, искривляется и образует миражи баров, погубившие уже не одного туриста с Земли. Говорят, всему виною тепляк. Но отчего же создаваемые им фата-морганы не изображают школ, книжных магазинов и клубов? Почему они неизменно показывают места продажи спиртных напитков? Поскольку мутации не носят направленного характера, то сначала тепляк, без сомнения, породил всевозможные миражи, однако же те его виды, что демонстрировали проходим клубы, библиотеки и кружки самообразования, погибли от голода, а в живых осталась лишь забулдыжная разновидность (*thermomendax spirituosus halucinogenes* из семейства антропофагов). Этот поистине чудесный феномен адаптации, благодаря которой тепляк способен породить миражи, ритмически выбрасывая теплый воздух, — ярко изобличает наши пороки. Забулдыжную разновидность вызвал к жизни сам человек, его достойная сожаленья природа.

Меня возмутило письмо в редакцию, помещенное в «Стредогенском эхе». Какой-то читатель требовал выкорчевать не только тепляк, но и брызгульник, великолепные рощи которого составляют величайшую гордость каждого парка. Если надрезать кору брызгульника, из-под нее брызжет ядовитый, ослепляющий сок. Брызгульник — последнее стредогенское дерево, еще не изрезанное сверху донизу надписями и монограммами, и теперь мы должны от него отказаться? Та же судьба ожидает, похоже, столь ценных представителей фауны, как мстивец-бездорожник, топлянка булькотная, кусан-втихомолец и выйник электрический; последний, чтобы спасти себя и свое потомство от убийственного шума и гама, которым наполнили лес бесчисленные радиоприемники туристов, создал в ходе естественного отбора вид, заглушающий чересчур громкие передачи, в особенности джазовые. Электрические органы выйника излучают радиоволны по принципу супергетеродина, столь удивительное творение природы следует срочно взять под охрану.

Что же касается смраднючки поганочной, то, согласен, издаваемый ею запах не имеет себе равных. Доктор Хопкинс из Милуокского университета подсчитал, что наиболее энергичные особи способны вырабатывать пять тысяч смрадов (единица зловония) в секунду. Но даже малому ребенку известно, что смраднючка ведет себя так лишь тогда, когда ее фотографируют.

Вид нацеленного на нее объектива приводит в действие так называемый фокусно-подхвостный рефлекс, при помощи которого Природа пытается защитить это невинное создание от настырных зевак. Правда, смраднючка, будучи немного близорука, иногда принимает за фотоаппарат такие предметы, как портсигар, зажигалка, часы и даже ордена и почетные знаки, но не в последнюю очередь потому, что некоторые туристы перешли на миниатюрные аппараты, а тут легко ошибиться. И если в последнее время смраднючка многократно расширила радиус поражения и вырабатывает до восьми мегасмрадов на гектар, то и это лишь оттого, что использование телеобъективов приняло массовый характер.

Не следует думать, будто я считаю неприкосновенной всю космическую флору и фауну. Безусловно, людогрызка-жевальница, дылдак-расплющик, ням-ням облизунчик, сверлушка ягодичная, трупенница шмыгливая или всеядец-ненасыт не заслуживают особой симпатии, как и все свирепейники из семейства автаркических, к которым относятся *Gauleiterium Flagellans*, *Syphonophiles Pruritualis*, он же порубай ножевато-хребтистый, а также буйнец-громоглот и лелейница нежно-удавчатая (*lingula stranguloides*

Erdmenglerbeyeri). Но если хорошенько подумать и постараться сохранять беспристрастность, то почему, собственно, человеку позволено срывать цветы и засушивать их в гербарии, а растение, которое обрывает и засушивает уши, следует так уж сразу объявлять чем-то противоестественным? Если звукоед-матюгалец (*echolalium impudicum Schwamps*) размножился на Эдоноксии сверх всякой меры, то и за это вину несут люди. Ведь звукоед черпает жизненную энергию из звуков. Раньше для этой цели он использовал гром, да и теперь не прочь послушать раскаты грозы; но вообще-то он переключился на туристов, каждый из которых считает долгом попотчевать его набором самых гнусных ругательств. Дескать, их забавляет вид этого создания природы, которое у них на глазах разрастается под потоком матерщины. Разрастается, верно, но причиной тому энергия звуковых колебаний, а не омерзительное содержание слов, которые выкрикивают вошедшие в раж туристы.

К чему же все это ведет? Уже исчезли с лица планет такие виды, как голубой взбесец и сверлизад упырчатый. Гибнут тысячи других. От туч мусора распухают пятна на солнцах. Я помню еще времена, когда лучшей наградой ребенку было обещание воскресной прогулки на Марс, а теперь раскапризничавшийся карапуз не сядет завтракать, пока отец не устроит специально для него взрыва Сверхновой! Гранжиря ради подобных прихотей космическую энергию, загрязняя метеориты и планеты, опустошая сокровищницу Заповедника, на каждом шагу оставляя после себя в просторах галактик скорлупу, огрызки, бумажки, мы губим Вселенную, превращая ее в огромную свалку. Давно уж пора опомниться и потребовать строгого соблюдения природоохранного законодательства. В убеждении, что каждая минута промедления опасна, я бью тревогу и призываю к спасению Космоса.

Эти строки я пишу на глиняных табличках, сидя перед своей пещеркой. Раньше я часто задумывался, как же это делалось в Вавилоне, но никак не мог предположить, что мне самому придется этим заняться. Тогда, наверное, глина была лучше, а может быть, клинопись больше подходит для такого случая.

У меня глина то расплывается, то крошится, но все равно это лучше, чем царапать известняком по сланцу, — с детства не переносу скрежета. Теперь я уже не стану называть первобытную технику примитивной. Прежде чем уйти, профессор долго наблюдал, как я мучаюсь, высекая огонь, а после того как я сломал поочередно консервный ключ, наш последний напильник, перочинный нож и ножницы, он заметил, что доктор Томпкинс из Британского Музея сорок лет назад попробовал вручную изготовить обыкновенный скребок, какие делали в каменном веке, но только вывихнул себе запястье и разбил очки. Профессор добавил еще что-то о презрительном высокомерии, с которым мы привыкли смотреть на своих пещерных предков. Он прав. Мое новое жилище убого, матрас совсем сгнил, а из артиллерийского бункера, где мы, было, так хорошо устроились, нас выгнала старая больная горилла, которую черт принес из джунглей. Профессор утверждает, что горилла нас совсем не выселяла. Это тоже правда — она не проявляла агрессивности, но меня нервировали ее игры с гранатами. Может быть, я и попытался бы ее прогнать — я заметил, что она боялась красных банок с консервированным раковым супом, их там еще много осталось, — но боялась она их не то чтобы очень сильно, а кроме того, Марамоту, который теперь открыто признается в шаманстве, заявил, что узнал в обезьяне душу своего дяди, и запретил нам ее раздражать. Мне очень жаль бункера; когда-то он служил одним из пограничных укреплений между Гурундувайю и Лямблией, но теперь солдаты разбежались, а нас выкинула вон обезьяна. Я все время невольно прислушиваюсь, потому что забавы с гранатами добром не кончаются, но пока слышны только стоны объевшихся урувоту и ворчание того павиана с

подбитым глазом, про которого Марамоту говорит, что это не простой павиан, но если я не буду делать глупостей, то и он, наверное, тоже не перейдет к действиям.

Порядочная хроника должна иметь датировку. Я знаю, что конец света наступил сразу после периода дождей. С тех пор прошло несколько недель, но я не могу сказать, сколько именно, потому что горилла отняла у меня календарь, в котором я записывал важнейшие события — сначала чернилами, а когда они кончились — раковым супом.

Профессор убежден, что это вовсе не конец света, а только конец нашей цивилизации. Я вынужден с ним согласиться, ибо нельзя события таких размеров мерить своими личными неудобствами. Ничего страшного не произошло, — говорил поначалу профессор и предлагал Марамоту и мне что-нибудь спеть, однако, когда у него кончился табак, он потерял душевное спокойствие и после попытки набить трубку кокосовыми волокнами отправился в город за новым табаком, хотя вполне представлял себе, чем грозит в теперешних условиях такое путешествие. Не знаю, увижу ли я его когда-нибудь. Тем более я обязан оставить его жизнеописание потомкам, которым предстоит возродить цивилизацию. Моя судьба сложилась так, что я вблизи мог наблюдать выдающихся личностей эпохи, и кто знает, не будет ли Донда признан первым среди них. Но сначала надо объяснить, как я оказался в африканском буше, который сейчас стал ничьей землей.

Мои достижения на ниве космонавтики принесли мне некоторую известность, и разнообразные организации, учреждения и частные лица обращались ко мне с просьбами о сотрудничестве, титулуя меня профессором, членом Академии или, по меньшей мере, доктором.

Мне все это было неприятно, поскольку я считаю, что не заслужил никаких званий, но профессор Тарантога убедил меня, что общественное мнение не может смириться с пустотой, зияющей перед моей фамилией, и, договорившись за моей спиной со своими влиятельными знакомыми, сделал меня Генеральным представителем ФАО — Всемирной продовольственной организации — в Африке.

Я принял этот пост вместе с титулом Советника и Эксперта, потому что считал его чистой синекурой, но оказалось, что в Лямблии, республике, которая мгновенно от палеолита перешла к монолиту современного общественного устройства, ФАО построила фабрику кокосовых консервов, и я как полномочный представитель должен был ее торжественно открыть. И надо же было случиться, что магистр-инженер Арман де Бэр, который сопровождал меня по поручению ЮНЕСКО, на приеме во французском посольстве потерял очки и, приняв сослепу шакала, подвернувшегося ему под руку, за легавую, решил его погладить. Известно, что у шакалов на зубах может оказаться трупный яд. Увы, достопочтенный француз пренебрег опасностью и через три дня умер. В кулуарах лямблийского парламента прошел слух, будто шакал одержим злым духом, которого вселил в него некий колдун, и кандидатура этого колдуна на пост министра религиозных культов и народного просвещения была снята после демарша французского посольства. Посольство не дало официального опровержения, возникла деликатная ситуация, а государственные мужи Лямблии, неопытные в дипломатическом протоколе, вместо того чтобы без лишнего шума отправить останки на родину, сочли это событие еще одним поводом блеснуть на международной арене. Генерал Махабуту, военный министр, дал траурный коктейль, на котором, как принято в таких случаях, все со стаканами в руках беседовали обо всем и ни о чем, и я, сам не помню когда, на вопрос полковника Баматагу, директора Департамента по европейским делам, ответил, что действительно, высокопоставленных покойников у нас иногда хоронят в запаянных гробах. Мне и в голову не пришло, что этот вопрос имеет что-то общее с умершим французом, а

лямблейцы, в свою очередь, не нашли ничего противоестественного в использовании фабричных устройств для похоронного ритуала. И умершего выслали самолетом Эр Франс, в ящике с рекламой кокосов, но самым оскорбительным было то, что в ящике находилось 96 запаянных консервных банок.

Потом из меня сделали козла отпущения — мол, я не предотвратил скандала; но как я мог такое предвидеть, если ящик был заколочен и покрыт трехцветным флагом? И еще все возмутились, отчего я не послал лямблейским властям меморандума с разъяснением, насколько неуместна развеска покойников на порции и консервирование их в банках. Но мне было не до того. Генерал Махабуту неизвестно зачем прислал мне в номер лиану, и только потом, от профессора Донды, я узнал, что это был намек на виселицу. После этой увертюры к отелю прибыла экзекуционная команда, которую я, не зная языка, принял за почетный караул. Если бы не Донда, я наверняка не поведал бы этой истории, а впрочем, и никакой другой. В Европе мне советовали остерегаться его, как беспринципного мошенника, который использовал легковерие и наивность молодого государства, чтобы свить себе там теплое гнездышко. Бессовестные шаманские штучки он поднял до уровня теории, которую и преподавал в местном университете. Поверив своим информаторам, я считал профессора шарлатаном и прохвостом и на официальных приемах держался от него подальше, хотя он производил на меня впечатление вполне симпатичного человека.

Генеральный консул Франции, резиденция которого находилась ближе всего (от английского посольства меня отделяла река, кишашая крокодилами), отказал мне в убежище — и это при том, что я прибежал к нему из «Хилтона» в одной пижаме. Консул сослался на государственные соображения, а именно на ущерб интересам Франции, мною якобы нанесенный. Наш разговор через дверной глазок шел на фоне ружейных залпов — это присланная за мной команда тренировалась на задворках отеля, — и я стал прикидывать, идти ли мне на расстрел или броситься к крокодилам, как вдруг из камышей выплыла нагруженная багажом пирога профессора. Когда я уже сидел на чемоданах, профессор сунул мне в руки весло и объяснил, что у него как раз кончился контракт в Кулахарском университете и он плывет в Гурундувайю, куда его пригласили в качестве профессора сварнетики. Такая неожиданная смена университетов могла бы показаться странной, но мне в тот момент было не до вопросов.

Даже если я был нужен Донде только как гребец, то все равно, он спас мне жизнь. Мы плыли уже четыре дня и за это время познакомились ближе. Я, правда, опух от москитов — от себя Донда отгонял их репеллентом, а мне говорил, что в банке осталось слишком мало снадобья. Я и на это не обижался, принимая во внимание деликатность ситуации. Донда читал прежде мои книги, и я не мог рассказать ему о себе ничего нового, зато я многое узнал о его жизненном пути.

Вопреки своей фамилии, Донда не славянин, да и назвали его так случайно. Имя Аффидавид он носит уже шесть лет, с тех пор, как, покидая Турцию, написал требуемый властями аффидевит и вписал это слово не в ту графу анкеты, так что получил паспорт, аккредитивы, справку о прививках, кредитную карточку и страховой полис на имя Аффидавида Донды и, подумав, смирился, потому что, в сущности, не все ли равно, как кого зовут.

Профессор Донда появился на свет благодаря серии ошибок. Его отцом была метиска из индийского племени Навахо, матерей же у него было две с дробью, а именно: белая русская, красная негрятка и, наконец, мисс Эйлин Сибэри, квакерша, которая и родила его после семи дней беременности в драматических обстоятельствах, то есть в тонущей подводной лодке.

Женщину, которая была отцом Донды, приговорили к пожизненному заключению за взрыв штаб-квартиры похитителей и одновременно — за катастрофу самолета компании Пан-Ам. Ей поручили бросить в штаб экстремистов-похитителей петарду с веселящим газом — как предупреждение. Она отправилась из Штатов в Боливию, но во время таможенного досмотра на аэродроме перепутала свой несессер с сумкой стоявшего рядом японца, и экстремисты взлетели на воздух, потому что у японца в сумке была настоящая бомба, предназначенная для кого-то другого. Самолет же, с которым по ошибке — в тот день бастовали наземные службы — вылетел ее несессер, разбился сразу после старта. Похоже, что пилот от смеха потерял контроль над управлением, а реактивные лайнеры при взлете, как известно, не проветриваются. За все это бедняжку упрятали в тюрьму до конца дней, и уж кто-кто, а эта девица, казалось, не имела никаких шансов оставить потомство; однако не следует забывать, что мы живем в век науки.

Как раз тогда профессор Харлей Помбернак изучал наследственность у заключенных в боливийских тюрьмах. Он брал живые клетки следующим образом: каждый из узников лизал предметное стеклышко микроскопа — этого достаточно, чтобы отслоилось несколько клеток слизистой оболочки. В той же самой лаборатории другой американец, доктор Джаггернаут, искусственно оплодотворял человеческие яйцеклетки. Стеклышки Помбернака каким-то образом перемешались со стеклышками Джаггернаута и попали в холодильник, в то место, где должны храниться мужские половые клетки. Из-за этой путаницы клеткой слизистой оболочки метиски оплодотворили яйцеклетку, донором которой была русская, дочь белоэмигрантов. Теперь вам, наверное, ясно, почему я назвал метиску отцом Донды: тот, кто дал оплодотворяющую клетку, конечно, отец, даже если он женщина.

Ассистент Помбернака в последнюю минуту спохватился, вбежал в лабораторию и крикнул: «Don't do it!» — но, как большинство англосаксов, произнес эти слова невнятно, и получилось что-то вроде «Дондо». Позже, когда выписывали метрику, это созвучие каким-то образом припомнилось и получилась фамилия «Донда» — так, по крайней мере, рассказывали профессору двадцать лет спустя.

Оплодотворенное яйцо Помбернак поместил в инкубатор. Эмбриональное развитие в пробирке продолжается обычно около двух недель, затем зародыш погибает. Но, по стечению обстоятельств, именно тогда Американская лига борьбы с эктогенезом добилась судебного приговора, по которому все оплодотворенные яйцеклетки были изъяты из лабораторий, и одновременно через газету стали подыскивать милосердных женщин, согласных доносить эмбрионы. Откликнулись многие, среди них и негритянка, которая еще не имела понятия о том, что через четыре месяца примет участие в нападении на склады поваренной соли фирмы Надлбейкер Корпорейшн. Негритянка принадлежала к группе активных защитников окружающей среды, которые протестовали против постройки атомной электростанции в Массачусетсе и, не ограничиваясь пропагандой, решили уничтожить склад соли, потому что из нее электролитическим путем получают металлический натрий, который служит теплоносителем, передающим энергию от ядерных реакторов к турбинам. Правда, реактор, который собирались построить в Массачусетсе, не нуждался в натрии. Он работал на быстрых нейтронах с новым теплоносителем, а фирма, выпускавшая этот теплоноситель, находилась в Орегоне и называлась Мадлбейкер Корпорейшн. Что же касается уничтоженной соли, то эта была вовсе не поваренная, а калийная соль, предназначенная для производства удобрений.

Процесс негритянки долго тащился от инстанции к инстанции, так как версии защиты и обвинения были достаточно аргументированы. Обвинение утверждало, что речь идет о

покушении на собственность федерального правительства и что суд должен принять во внимание преднамеренные действия, а не случайные ошибки в исполнении. Защита, в свою очередь, стояла на том, что имело место лишь дальнейшее ухудшение и без того испорченных, залежавшихся удобрений, находившихся в частной собственности, и поэтому дело находится в компетенции штата. Негритянка, понимая, что так или иначе ей придется рожать в тюрьме, отказалась от продолжения материнства в пользу новой филантропки. Ею оказалась квакерша, некая Сибэри. Квакерша, чтобы немного развлечься, на шестом дне беременности отправилась в Диснейленд на подводную экскурсию по супераквариуму. Подводная лодка потерпела аварию, и, хотя все кончилось благополучно, у мисс Сибэри от нервного потрясения случился выкидыш. Плод, однако, удалось спасти. Поскольку мисс Сибэри была беременна только неделю, вряд ли можно считать ее настоящей матерью Донды — отсюда и дробное обозначение.

Потребовались объединенные усилия двух детективных агентств, чтобы выяснить истинные факты, касавшиеся как отцовства, так и материнства. Прогресс науки аннулировал старый принцип римского права: «Mater semper certa est». Для порядка добавлю, что пол профессора остался загадкой, потому что из двух женских клеток может развиваться только женщина. Откуда появилась мужская хромосома, неизвестно. Но я слышал от вышедшего на пенсию работника Пинкертоновского агентства, который приезжал в Лямблию на сафари, что пол Донды не представляет никакой загадки — в третьем отделе лаборатории Помбернака предметные стекла давали лизать жабам.

Профессор провел детство в Мексике, потом натурализовался в Турции, где перешел из епископального вероисповедания в дзен-буддизм и закончил три факультета, и, наконец, выехал в Лямблию, чтобы возглавить в Кулахарском университете кафедру сварнетики.

Настоящей его профессией было проектирование птицефабрик, но, когда он перешел в буддизм, то не мог более вынести мысли о тех муках, которым подвергают бройлеров. Двор им заменяет пластиковая сетка, солнце — кварцевая лампа, квочку — маленький равнодушный компьютер, а вольное клевание — помпа, которая под давлением заполняет желудки смесью из планктона и рыбной муки. Им ставят музыку, обычно увертюры Вагнера, которые вызывают у них панику. Цыплята в отчаянье машут крыльшками, что ведет к развитию грудных мышц, самых ценных в кулинарном отношении. Может быть, Вагнер и был той каплей, которая переполнила чашу терпения Донды.

В этих куриных освещенных, говорил профессор, несчастные создания по мере своего развития передвигаются вместе с лентой, к которой прикреплены клетки, вплоть до конца конвейера, и там, так и не увидев в своей жизни ни клочка голубого неба, ни щепотки песка, подвергаются обезглавливанию, отвариванию и расфасовке в банки... Интересно, что мотив консервной банки то и дело появляется в моих воспоминаниях.

И вот, находясь еще в Турции, Донда получил телеграмму следующего содержания: «Will you be appointed professor of svarnetics of Kulaharian University ten kilodollars yearly answer please immidiately Colonel Dronfutu Lamblian Bamblian Dramblian Security Police». Он тут же ответил согласием, исходя из тех соображений, что можно и на месте узнать, что такое сварнетика, а трех его дипломов достаточно, чтобы преподавать любую из точных наук. По прибытии в Лямблию Донда обнаружил, что о полковнике Друфуту давно уже никто не помнит. В ответ на расспросы все только смущенно покашливали. Однако контракт был подписан и новому правительству пришлось бы выплатить Донде неустойку за три года, так что кафедру он получил.

Никто не расспрашивал нового профессора о его предмете. Тюрьмы были переполнены, и в одной из них, наверное, находился человек, который знал, что такое сварнетика. Донда искал этот термин во всех энциклопедиях, но понапрасну. Единственным научным подспорьем, которым располагал университет в Кулахари, был новенький, с иголки, компьютер IBM, подарок ЮНЕСКО. Однако читать студентам кибернетику Донда не имел права — это противоречило контракту. Хуже всего (он признался мне в этом, когда мы продолжали грести в полутьме, едва отличая корягу от крокодила) были одинокие вечера в отеле, которые он коротал, ломая голову над тайной сварнетики.

Обычно бывает так: возникает новая область исследований, потом для нее придумывают название. У него же было название без предмета. Профессор долго колебался между возможными толкованиями и, наконец, решил остановиться на неопределенности как таковой, полагая, что слово «между» (inter) самое подходящее в данном случае. С той поры в сообщениях, предназначенных для европейских журналов, он стал употреблять термин «интеристика»; последователей этой школы в просторечии звали «промежниками». Но только в качестве творца сварнетики Донда приобрел настоящую и, увы, печальную известность.

Конечно, он не смог бы заниматься стыками всех наук, но тут ему снова помог случай. Министерство культуры выделило дотации для тех кафедр, которые связывали свои исследования с национальными традициями страны. Донде это условие пришлось как нельзя более кстати. Он решил изучить пограничную область между рациональным и иррациональным. Начал он скромно, с математизации заклиний. В лямблийском племени Хоту Ваботу уже много веков практиковалось преследование врагов *in effigio*. Фигурку недруга, проколотую колючками, скармливали ослу. Если осел после этого угощения не издыхал, то это считалось добрым знаком и предвещало скорую смерть врага. Донда принялся за цифровое моделирование врагов, колючек, ослов и т. п. Таким образом он постепенно раскрыл смысл сварнетики. Оказалось, что это слово — сокращение английского «Stochastic Verification of Automatized Rules of Negative Enchantment», то есть «стохастическая проверка автоматизированных правил наведения злых чар». Журнал «Nature», куда Донда послал статью о сварнетике, поместил выдержки из нее с оскорбительным комментарием в рубрике «Курьезы». Комментатор назвал Донду кибершаманом, который сам не верит в то, что делает, и поэтому — таков был глубокомысленный вывод — является обыкновенным мошенником. Донда оказался в двусмысленном положении. В чары он действительно не верил и в своем сообщении не утверждал, будто верит, но в то же время не мог публично заявить о своем неверии, потому что уже принял предложение министерства сельского хозяйства заняться оптимизацией заклятий против засухи и вредителей зерновых культур.

Не имея возможности ни отмежеваться от магии, ни признаться в ней, профессор нашел выход в самой сути сварнетики как междотраслевой науки. Он решил держаться между магией и наукой. Хотя к этому шагу его принудили обстоятельства, именно тогда он вступил на путь, который привел его к величайшему из всех открытий в истории человечества.

Отсталость полицейского аппарата в Лямблии привела к значительному росту числа преступлений, особенно против жизни граждан. Вожди племен, ставшие в новых условиях атеистами, тут же перешли от магических преследований оппонентов к реальным, и не было дня, чтобы крокодилы, которые обычно лежали на отмели напротив парламента, не глодали бы чьих-нибудь конечностей. Донда взялся за цифровой анализ этого явления и назвал свой проект «Methodology of Zeroing Illicit Murder» — методология приведения недозволенных убийств к нулю, «МЗИМУ». Вскоре по стране разнеслась весть о том, что

в Кулахари появился могучий волшебник Бвана Кубва Донда, обладающий Мзиму, который следит за каждым шагом жителей Лямблии. В последующие месяцы индекс преступности значительно снизился.

Политики, воодушевленные успехом, потребовали, чтобы профессор запрограммировал экономические чары с целью сделать платежный баланс Лямблии положительным. Они также добивались разработки орудия для метания проклятий и заклинаний против соседнего государства Гурундувайю, которое вытесняло лямблийские кокосы с мирового рынка. Донда сопротивлялся этому нажиму с большим трудом — к тому времени в чернокнижную силу компьютера поверили его многочисленные докторанты. В неофитском азарте им уже мерещилась не кокосовая, а политическая магия, которая дала бы Лямблии мировое господство.

Конечно, Донда мог бы публично заявить, что ничего такого от сварнетики требовать нельзя. Но тогда ему пришлось бы разъяснить истинное ее назначение людям, которые не в состоянии его понять. Таким образом, он был осужден на постоянное лавирование. Тем временем слухи о Мзиму Донды повысили производительность труда, так что платежный баланс немного поправился. Отмежевавшись от этих достижений, профессор отмежевался бы и от дотации, а без нее рухнули бы его гигантские замыслы.

Не знаю, когда ему в голову пришла эта мысль. Профессор говорил об этом как раз в тот момент, когда исключительно злобный крокодил отгрыз лопасть у моего весла. Я дал ему промеж глаз каменным кубком, который Донда получил от делегации колдунов, присвоивших ему звание мага *honoris causa*. Кубок разбился, огорченный профессор стал осыпать меня упреками, и мы поссорились до следующего привала. Я запомнил только, что кафедра превратилась в Институт экспериментальной и теоретической сварнетики, а Донда стал председателем Комиссии 2000-го года при Совете Министров, имевшей целью составление гороскопов и их магическое воплощение в жизнь. Мне кажется, что он пошел на поводу у обстоятельств, но я ничего не сказал ему тогда — все-таки он спас мне жизнь.

Разговор не клеился и на следующий день, потому что река на протяжении 20 миль служила границей между Лямблией и Гурундувайю, и пограничные посты обоих государств время от времени обстреливали нас, к счастью, не слишком метко. Крокодилы куда-то исчезли, хотя я предпочел бы их общество пограничным инцидентам. У Донды были заготовлены флаги Лямблии и Гурундувайю, мы размахивали ими перед солдатами, но река выделяет здесь крутые извивы, и раз-другой мы махнули не тем флагом — пришлось ложиться на дно пироги...

Больше всего портил настроение Донде журнал «Nature», которому он был обязан репутацией шарлатана. Однако посольство Лямблии нажало на Форин Оффис, и профессора все же пригласили на Всемирный конгресс кибернетики в Оксфорде. Там он и огласил реферат о Законе Донды.

Как известно, изобретатель перцептрона Розенблатт выдвинул такой тезис — чем больше перцептрон, тем меньше он нуждается в обучении для распознавания геометрических фигур. Правило Розенблатта гласит: бесконечно большой перцептрон вовсе не нуждается в обучении — он все знает сразу. Донда пошел в противоположном направлении и открыл свой закон. То, что маленький компьютер может сделать, имея большую программу, большой компьютер сделает, имея малую, отсюда следует вывод, что бесконечно большая программа может действовать без всякого компьютера. И что же вышло? Аудитория откликнулась на эти слова издевательским свистом. Куда только подевались свойственные ученым сдержанность и хорошие манеры! Журнал «Nature» писал, что если

верить Донде, каждое бесконечно длинное заклинание должно реализоваться. Профессора обвинили в том, что чистую воду точной науки он смешал с идеалистической мутью. С тех пор его стали называть «пророком кибернетического Абсолюта».

Окончательно подкосило Донду выступление доцента Богу Вамогу из Кулахари, который тоже оказался в Оксфорде, потому что был зятем министра культуры, и представил работу под названием «Камень как движущий фактор европейской мысли». В фамилиях людей, утверждал доцент, сделавших переломные открытия, часто встречается слово «камень», что следует, например, из фамилии величайшего физика (ЭйнШТЕЙН), великого философа (ВитгенШТЕЙН), великого кинорежиссера (ЭйзенШТЕЙН), театрального деятеля (ФельзенШТЕЙН). В той же мере это касается писательницы Гертруды СТАЙН и философа Рудольфа ШТЕЙНера. Касаясь биологии, Богу Вамогу назвал основоположника гормонального омоложения ШТЕЙХаха и, наконец, не преминул добавить, что Вамогу по-лямблийски значит «камень всех камней». А поскольку он всюду ссылаясь на Донду и свою каменную генеалогию называл «сварнетически имманентной составляющей сказуемого „быть камнем“», журнал в очередной заметке представил его и профессора в виде двух сумасшедших близнецов.

Я слушал этот рассказ в душном тумане на разливе Вамбези, отвлекаясь главным образом на битые по головам особо нахальных крокодилов, которые кусали торчащие из сумок рукописи профессора и забавлялись, раскачивая лодку. Меня одолевали сомнения. Если Донда занимал в Лямблии такое прочное положение, то почему он тайком бежал из страны? К чему он в действительности стремился и чего достиг? Если он не верил в магию и насмеялся над Богу Вамогу, то отчего проклинал крокодилов, вместо того чтобы взять винтовку (только в Гурундувайю он объяснил мне, что этого не позволяла ему буддийская вера). Тогда мне было трудно добиться от него правды. Собственно, из любопытства я принял предложение Донды стать его ассистентом в Гурундувайском университете. После прискорбной истории с консервным заводом у меня не было желания возвращаться в Европу — я предпочитал подождать, пока инцидент окончательно забудется. И хотя впоследствии я пережил немало, о своем решении, принятом в мгновение ока, я ничуть не жалею, и когда пирога, наконец, уткнулась носом в гурундувайский берег Вамбези, я выпрыгнул первым и подал руку профессору, и в этом рукопожатии было нечто символическое, ибо с тех пор наши судьбы нераздельны.

Гурундувайю — государство в три раза большее, чем Лямблия. Быструю индустриализацию здесь, как это случается в Африке, сопровождала неразлучная с ней коррупция. Но к тому времени, когда мы прибыли в страну, механизм уже забуксовал. То есть взятки по-прежнему брали все, но никаких услуг взамен не полагалось. Правда, не давшего взятку могли избить. Отчего промышленность, торговля и администрация все еще действовали — этого мы поначалу не могли понять.

По европейским понятиям, страна со дня на день должна была развалиться на куски. Лишь после долгого пребывания в Лумии, столице Гурундувайю, я разобрался немного в новом устройстве, которое заменяет то, что на старом континенте зовется «общественным договором». Мваги Табуин, лумийский почтмейстер, у которого мы поселились (столичный отель закрыли семнадцать лет назад на текущий ремонт), объяснил нам без обиняков, чем он руководствовался, выдавая замуж своих шестерых дочерей. Через старшую он породнился сразу с электростанцией и обувной фабрикой. Вторую дочку он внедрил в продовольственный комбинат через тамошнего привратника. И сделал единственно правильный ход. Одно руководство за другим отправлялось за решетку, лишь привратник оставался на месте, потому что сам ничем не злоупотреблял, а только принимал подношения. Благодаря этому стол почтмейстера всегда был уставлен блюдами

с дефицитной едой. Третью дочь Мваги просватал за ревизора ремонтных кооперативов. Поэтому даже в период дождей крыша его дома не протекала, стены сияли свежей краской, двери закрывались так плотно, что ни одной змее не проползти, и в каждом окне были стекла. Четвертую дочь он выдал за надзирателя городской тюрьмы — на всякий случай. На пятой женился писарь городской управы. Именно писарь, а не, скажем, вице-бургомистр, которому Мваги послал в знак отказа черный суп из крокодильего желудка. Управы менялись, как облака на небе, но писарь держался на своем месте, и только взгляды его менялись, словно фазы луны. Наконец, шестую девушку взял в жены шеф снабжения атомных войск. Войска эти существовали на бумаге, но снабжение было реальным. Кроме того, кузен шефа со стороны матери служил сторожем в зоологическом саду. Эта связь показалась мне совсем бесполезной. Разве что понадобится слон? Со снисходительной улыбкой Мваги заметил: «Зачем же слон? Вот скорпион — другое дело».

Будучи почтмейстером, Мваги не нуждался в семейных связях с почтой, и даже мне, его жильцу, посылки и письма приносили невскрытыми — дело в Гурундувайю редкостное. Я не раз видел, как почтальоны, выходя утром из здания почты с полными сумками, вываливали прямо в реку пачки писем, отправленных без необходимой протекции. Что же касается посылок, то почтовые чиновники забавлялись игрой, угадывая по очереди, что находится в посылке. Угадавший выбирал себе любую вещь по вкусу.

Нашего хозяина беспокоило только отсутствие родственников в кладбищенском хозяйстве. «Скормят меня крокодилам, сволочи!» — вздыхал он, когда его одолевали грустные мысли.

Высокий прирост населения в Гурундувайю объяснялся тем, что всякий отец семейства старался прежде всего связаться кровными узами с жизненно важными учреждениями. Мваги рассказал мне, как незадолго до закрытия лумийского отеля постояльца падали от голода, а скорая помощь тем временем развозила по знакомым кокосовые циновки.

Хаувари, бывший капрал Иностранного легиона (после взятия власти он провозгласил себя маршалом и через день награждал себя через Министерство отличий новыми орденами), не осуждал повального стремления устроиться за счет других. Напротив, ему первому пришла в голову мысль национализировать коррупцию.

Хаувари, которого местная пресса именовала Старшим братом Вечности, не жалел средств на науку, а черпал он их из налогов, которыми облагались в стране иностранные фирмы. Парламент одобрял очередной налог, после чего начинались конфискации, описи имущества и ноты протеста, большей частью без последствий, а когда группа капиталистов укладывала чемоданы, всегда находились другие, которые желали попытать счастья в Гурундувайю, где запасы ископаемых, особенно хрома и никеля, были огромны, хотя кое-кто утверждал, что геологические данные подтасованы по указанию властей. Хаувари покупал в кредит оружие, в том числе истребители и танки, и продавал их Лямблии за наличные.

Со Старшим братом Вечности шутки были плохи. Когда наступила великая засуха, он дал равные шансы христианскому богу и Синему Турмуту, старшему духу колдунов, и три недели спустя, так и не дождавшись осадков, казнил колдунов и выслал всех миссионеров.

Прочитав в порядке обмена опытом биографии Наполеона, Чингисхана и других государственных деятелей, он стал поощрять своих подчиненных к безудержному грабежу, непременно в крупных масштабах. В результате правительственный квартал

соорудили из материалов, украденных Министерством строительства у Министерства водного транспорта, которое собиралось построить из них пристань на Вамбези; капитал для постройки железных дорог был похищен в Министерстве кокосового оборота; только злоупотребления позволили собрать средства для возведения зданий Суда и Следствия; словом, кражи и присвоения дали прекрасные результаты.

Хаувари, который к тому времени уже носил имя Отца Вечности, с большой помпой лично открыл Коррупционный банк, в котором каждый серьезный предприниматель мог получить долгосрочный кредит на взятки, если, конечно, дирекция установит, что его интересы совпадают с государственными.

С помощью Мваги мы с профессором устроились совсем неплохо. Почтовый инспектор приносил нам великолепных копченых кобр. Печенье доставляли на автобусе Эр Франс. Опытные пассажиры соображали, что ждать автобуса нет смысла, а неопытные, погуляв с чемоданами, набирались опыта. Молока и сыра у нас было вдоволь благодаря телеграфистам, которые просили взамен только дистиллированную воду из нашей лаборатории. Я никак не мог взять в толк, зачем им эта вода, но оказалось, что им нужны только голубые пластиковые бутылки — в них разливали самогон, который гнали в городском Антиалкогольном комитете. Нам не надо было ходить по магазинам, и это очень важно, потому что я ни разу не видел в Лумии открытого магазина; на дверях всегда висели таблички «Приемка амулетов», «Пошла к колдуну» и т. п. Труднее всего нам было в учреждениях, потому что чиновники не обращали никакого внимания на посетителей. Согласно туземному обычаю, конторы — это место для общественных мероприятий, азартных игр и, главным образом, сватовства. Общее веселье омрачает иногда приезд полиции, которая сажает за решетку всех без разбора. Мера пресечения выбирается из соображения, что виноваты все, а кто в какой мере — на это жалко тратить силы и время.

Вскоре после нашего прибытия была раскрыта афера с котлами. Кузен Отца Вечности приобрел в Швеции для нужд парламента котлы центрального отопления вместо кондиционеров — при том, что в Лумии температура воздуха не опускается ниже 25 БС. Хаувари попытался склонить Метеорологический институт к снижению температуры и таким образом оправдать закупку; парламент непрерывно заседал — речь шла о его интересах. Была создана следственная комиссия, ее председателем избрали Мнумну, старого соперника Отца Вечности. В зале заседаний начались стычки, обычные танцы в перерывах превратились в воинственные, скамьи оппозиции пестрели цветными татуировками — и вдруг Мнумну исчез. Ходили три версии: одни утверждали, что Мнумну съеден правительственной коалицией, другие — что он сбежал вместе с котлами, третьи — что он сам себя съел. От Мваги я слышал и такое таинственное высказывание (правда, после дюжины кувшинов хорошо перебродившего киву-киву): «Если выглядишь вкусно, лучше не гуляй вечером в парке!» Но, возможно, это была только шутка.

Кафедра сварнетики в лумийском университете открыла перед Дондой новые перспективы. Надо сказать, что в это самое время правительственная комиссия по моторизации решила закупить лицензию на семейный вертолет Белл-94, потому что после подсчетов вышло, что вертолетизация страны обойдется дешевле, чем строительство дорог. Правда, в столице уже была одна автострада длиной в 60 метров, но использовалась она только для военных парадов.

Весть о покупке лицензии вызвала панику у населения — каждый понимал, что это означает крах системы. Вертолет состоит из 39.000 деталей, для него нужен бензин и пять сортов смазки. Никто не в состоянии обеспечить себя всем этим, даже если станет каждый год рожать по дочери.

Я имею некоторое представление об этом механизме. Когда у моего велосипеда оборвалась цепь, я был вынужден нанять охотника, чтобы он поймал молодую антилопу, ее шкурой покрыли тамтам для директора телеграфа, директор послал Умиами телеграмму соболезнования по случаю смерти его дедушки в джунглях, а Умиами через Матарере был в родстве с одним армейским интендантом и кое-что имел в запасе, потому что главная бригада временно передвигалась на велосипедах. С вертолетом, конечно, было бы гораздо сложнее.

На счастье Европа, этот вечный источник новинок, предложила свежий образец взаимоотношений — групповой секс в произвольном составе. В суровых экономических условиях он стал не источником острых ощущений, но средством для удовлетворения текущих потребностей. Опасения профессора, что для блага науки нам придется распрощаться с холостяцкой жизнью, оказались напрасными. Мы неплохо справлялись, хотя дополнительные обязанности, которые нам пришлось взять на себя, чтобы снабдить кафедру всем необходимым, очень нас утомляли.

Профессор посвятил меня в свой новый замысел — он хотел запрограммировать в компьютере все проклятия, чернокнижные заклинания, магические ритуалы и шаманские формулы, которые создало человечество. Я не видел в этом никакого смысла, но профессор был непреклонен. Такую гигантскую массу информации мог вместить только новейший фотоэлектронный компьютер ценой 11 миллионов долларов.

Мне не верилось, что мы сможем получить такой огромный кредит, особенно если учесть, что министр финансов отказался ассигновать 43 доллара на закупку туалетной бумаги для института. Однако профессор был уверен в успехе. Он не рассказывал мне о деталях своего плана, но по всему было заметно, что он целиком втянулся в это предприятие. По вечерам, раскрасившись, он отправлялся неизвестно куда в набедренной повязке из шкуры шимпанзе — именно таков визитный костюм в высокопоставленных кругах Лумии. Из Европы ему приходили загадочные посылки; когда я нечаянно уронил одну из них, раздался тихий марш Мендельсона. Донда раскапывал какие-то рецепты в старых поваренных книгах, таскал из лаборатории стеклянные змеевики дистилляторов, заставлял меня затирать барду, вырезал снимки женщин из «Плейбоя» и «Уи», окантовывал картинки, которые никому не показывал, наконец, попросил доктора Альфена, директора правительственного госпиталя, пустить ему кровь, и я видел, как он завертывал бутылочку в золотую бумагу. А потом в один прекрасный день профессор смыл с лица мази и краски, сжег остатки «Плейбоев» и четыре дня флегматично курил трубку на веранде дома Мваги. На пятый день нам позвонил Уабамоту, директор департамента капиталовложений. Разрешение на покупку компьютера было получено. Я не верил своим ушам. Профессор на все вопросы отвечал только слабой улыбкой.

Программирование магии заняло более двух лет. Трудностей хватало. Пришлось повозиться, например, с переводом заклинаний американских индейцев, записанных узелковым письмом «кипу» и с ледовоснежными заклятиями курильских племен и эскимосов, двое наших программистов расхворались, по-моему, от переутомления, потому что групповое сожителство по-прежнему было в моде, однако ходили слухи, что их болезнь — дело рук колдовского подполья, обеспокоенного превосходством Донды на их общем поле деятельности. Кроме того, группа прогрессивной молодежи, краем уха прослышав о движениях протеста, подложила в институт бомбу.

К счастью, взрыв разрушил только одну из уборных. Ее не починили уже до конца света, потому что пустые кокосы, которые, по мысли местного рационализатора, должны были

заменить поплавки в бачках, все время тонули. Я просил профессора употребить свое возросшее влияние, чтобы достать запасной поплавков, но он сказал, что только великая цель оправдывает столь трудоемкие средства.

Жители нашего квартала раза два устраивали антидондовские демонстрации — они опасались, что пуск компьютера обрушит лавину чар на университет, а заодно и на них, потому что колдовство может оказаться недостаточно точным. Профессор велел окружить здание высоким забором, на котором собственноручно нарисовал тотемические знаки, охраняющие от злых чар. Забор, насколько я помню, обошелся в четыре бочки самогона.

Постепенно мы накопили в блоках памяти 490 миллиардов битов магических сведений, что в сварнетическом исчислении равнялось двумстам тетрагигамагемам. Машина, выполняя 18 миллионов операций в секунду, работала три месяца без перерыва. Инженер Джефрис из IBM, присутствовавший при пуске машины, счел нас за сумасшедших, особенно после того, как профессор поставил блоки памяти на высокочувствительные весы, специально выписанные из Швейцарии.

Программисты были ужасно расстроены — после трех месяцев работы компьютер не заколдовал и муравья. Донда, однако, жил в неустанном ожидании, не отвечал на вопросы и каждый день проверял, как выглядит график, который рисовал самописец весов на бумаге. Разумеется, он рисовал прямую линию, которая свидетельствовала, что компьютер не поколебался ни на микрон, да и с чего ему было колебаться? К концу третьего месяца у профессора появились признаки депрессии, он не отвечал на телефонные звонки и не прикасался к корреспонденции. Вечером двенадцатого сентября, когда я уже собирался ложиться спать, он вдруг ворвался ко мне, бледный и потрясенный.

— Свершилось! — закричал он с порога. — Теперь уже точно! — Признаюсь, я испугался за его рассудок. — Свершилось! — повторил он еще несколько раз.

— Что свершилось? — закричал я наконец.

Он посмотрел на меня, словно очнувшись ото сна.

— Он прибавил в весе одну сотую грамма. Эти проклятые весы слишком грубые. Если бы у меня были весы получше, я знал бы месяц назад, а может, и раньше.

— Кто прибавил в весе?

— Не кто, а что. Компьютер. Блоки памяти. Ты же знаешь, что материя и энергия имеют массу. Информация не материя и не энергия, однако она существует, значит, и у нее должна быть масса. Я начал думать об этом, когда только формулировал закон Донды. Бесконечно большая информация действует непосредственно, без всякой аппаратуры. Что бы это могло означать? То, что вся масса информации найдет себе непосредственное применение. До этого я додумался, но не знал еще правила равновесия. Что ты на меня так смотришь? Теперь я осуществил свой проект и знаю, сколько весит информация. Машина стала тяжелее на 0,01 грамма. Понимаешь?

— Профессор, — пробормотал я, — а как же все эти молитвы, заклинания, эти наши единицы измерения — чары на грамм и секунду?

Я замолчал — мне показалось, что Донда плачет. Его трясло, но это был беззвучный смех.

— А что мне оставалось делать? — сказал он вдруг спокойно. — Пойми — масса есть у всякой информации, смысл не имеет ровно никакого значения. Атомы остаются атомами, независимо от того, где они находятся — в камне или в моей голове. Однако масса информации неслыханно мала, сведения всей энциклопедии тянут на миллиграмм. Вот зачем мне такой компьютер. Но подумай, кто бы дал мне на полгода машину за 11 миллионов, чтобы заполнять ее чепухой, бессмыслицей, вздором, чем попало?

— Однако, — возразил я неуверенно, — если бы мы работали в серьезном научном учреждении, скажем, в Институте высших исследований или в Массачусетском Технологическом...

— Да брось ты! У меня не было никаких доказательств, ничего, кроме закона Донды, который стал всеобщим посмешищем. Пришлось бы покупать машинное время, а ты знаешь, сколько стоит час работы такой штуковины? А мне нужны месяцы! И куда бы я приткнулся в Штатах? У таких машин там стоят толпы футурологов, обсчитывают варианты Нулевого прироста экономики — это сейчас модно, это, а не выдумки какого-то Донды из Кулахари.

— Значит, вся эта магия ни к чему? Ведь мы только на сбор материалов потратили два года...

Донда нетерпеливо дернул плечом.

— Необходимое не может быть напрасным. Без проекта мы не получили бы ни гроша.

— Но Уабамоту, правительство, Отец Вечности — все они ожидают чуда!

— Будет им чудо, да еще какое! Слушай. Существует критическая масса информации, точно так же, как критическая масса урана. Мы приближаемся к ней. Не только мы здесь, но вся Земля. Каждая цивилизация, строящая компьютеры. Развитие кибернетики — это западня, поставленная Природой для Разума.

— Критическая масса информации? — повторил я. — Но ведь каждый человеческий мозг содержит тьму информации, и если не принимать во внимание, умная она или глупая...

— Не перебивай. Важно не количество сведений, а их плотность. Так же, как в случае с ураном. Рассеянный в глубине земли, уран безопасен. Условие взрыва — его выделение и концентрация. Так и в нашем случае. Информация в книгах или в головах людей может быть огромной, но она пассивна. Ее нужно сконцентрировать.

— И что тогда произойдет? Чудо?

— Какое там чудо, — усмехнулся он. — Похоже, ты и впрямь поверил в бредни, которые послужили мне исходным материалом. Никакого чуда. За критической точкой произойдет цепная реакция. *Obiit animus, natus est atomus!* Информация исчезнет — она превратится в материю.

— Как это? — изумился я.

— Материя, энергия и информация — вот три проявления массы, — терпеливо объяснял Донда. — Согласно законам сохранения, они могут взаимно превращаться. Материя переходит в энергию, энергия и материя нужны для создания информации, а информация

может снова обратиться в материю, но только при определенных условиях. Перейдя критическую массу, она исчезнет, будто ее ветром сдуло. Это и есть Барьер Донды, граница прироста знаний. Конечно, их можно накапливать и дальше, но только в разреженном виде. Каждая цивилизация, которая до этого не додумается, попадает в ловушку: чем больше она соберет знаний, тем дальше откатится к невежеству. Знаешь, как близко мы подошли к этому порогу? Если поток информации будет нарастать такими же темпами, то через два года произойдет...

— Взрыв?

— Как бы не так! Ничтожная вспышка, которая и мухе не повредит. Там, где находились миллиарды битов, останется горстка атомов. Пожар цепной реакции obeжит весь мир со скоростью света и повсюду, где плотность информации превышает миллион битов на кубический миллиметр, произведет протоны — и пустоту.

— Но надо же предостеречь...

— Разумеется. Я уже сделал это. Но безрезультатно.

— Почему? Неужели вы опоздали?

— Нет, просто мне никто не верит. Такое сообщение должно исходить от авторитета, а я в их глазах — шут и мошенник. Впрочем, от мошенничества я мог бы откеститься, но от шутовства мне не избавиться никогда. Да я и пытаться не стану. В Штаты я послал официальное сообщение, а в «Nature» вот эту телеграмму.

Он передал мне черновик: «Cognovi naturam rerum. Lord's countdown made the world. Truly your's Donda».

Заметив, что я остолбенел, профессор ехидно усмехнулся.

— Ты плохо обо мне подумал! Дорогой мой, я тоже человек и плачу им добром за зло. Деша содержит важную мысль, но они бросят ее в корзину или публично высмеют. Это моя месть. Не понимаешь? А самая модная теория возникновения Вселенной — теория большого взрыва — тебе известна? Что же взорвалось? Что вдруг материализовалось? Вот тебе божественный рецепт: считать от бесконечности до нуля. Когда бог досчитал до нуля, информация мгновенно материализовалась — согласно формуле равновесия. Так воплотилось Слово, оно взорвалось туманностями, звездами. Космос возник из информации!

— Вы действительно так думаете, профессор?

— Доказать нельзя, но, во всяком случае, идея не противоречит закону Донды. Не думаю, чтобы это был именно бог, однако кто-то сделал это на предыдущем этапе, может быть, несколько цивилизаций, которые взорвались вместе, это созвездие Сверхновых. А теперь наша очередь. Компьютеризация свернет голову цивилизации, впрочем, вполне деликатно.

Я понимал состояние профессора, но не мог ему поверить. Мне казалось, что желание отомстить за предыдущие унижения ослепляет его. Но, увы, он оказался прав...

У меня немеет рука и кончается глина, однако я должен писать дальше. В общем футурологическом шуме никто не обратил внимания на слова Донды. «Nature» промолчал. Одна или две газеты напечатали полный текст его предостережения, но научный мир даже ухом не повел. У меня это не умещалось в голове. Когда я понял, что мир стоит перед катастрофой, а на профессора смотрят как на того пастуха из басни, который слишком часто кричал «волки», я не мог удержаться от горьких слов. Однажды ночью я упрекнул профессора в том, что он сам надел шутовскую маску, компрометируя свои исследования шаманским обликом. Он выслушал меня с жалкой, дрожащей усмешкой. Может быть, это был просто нервный тик.

— Иллюзии, — сказал он наконец, — иллюзии. Если магия — вздор, то ведь и я появился из вздора. Не могу тебе сказать, когда догадка переросла у меня в гипотезу, потому что я сам этого не знаю. Я сделал ставку на неопределенность. Мое открытие принадлежит физике, но только такой, которую никто не заметил, потому что дорога к ней вела через области осмеянные и поставленные вне закона. Надо было начать с мысли о том, что слово может стать телом, что заклинание может материализоваться, а потом нырнуть в этот абсурд, чтобы попасть на другой берег, туда, где информация и масса пребывают в равновесии. Так или иначе, необходимо было пройти через магию, не обязательно через ту игру, которой занимался я, — любой шаг показался бы бессмысленным, подозрительным, еретическим и дал бы пищу для насмешек. Ты прав, я ошибся, но моя ошибка в том, что я не оценил всей глупости той официальной мудрости, которая царит у нас в науке. В нашу эпоху ярких упаковок обращают внимание на ярлык, а не на содержимое... Объявив меня жуликом и проходимцем, господа ученые сочли, что я более не существую, и если бы даже я ревел, как иерихонские трубы, никто бы меня не услышал. Но кто из нас, в сущности, занимался магией? Разве их жест отторжения и проклятия не относятся к области магических ритуалов? Последний раз о Законе Донды писал «Ньюсуик», перед этим «Тайм», «Дер Шпигель», «Экспресс» — не могу пожаловаться на недостаток популярности. Но как раз поэтому ситуация кажется мне безвыходной: меня читают все — и не читает никто. Кто не слышал о Законе Донды? Читают и покатываются со смеху: «Don't do it!» Видишь ли, их волнует не результат, а тот путь, по которому к нему приходят. Есть люди, лишённые права делать открытия, например, я. Теперь я сто раз мог бы присягнуть, что проект был всего лишь тактическим приемом, некрасивым, но необходимым, мог бы каяться публично — они бы только смеялись в ответ. Единожды войдя в клоунаду, я не смогу из нее выбраться. Меня утешает только то, что катастрофу все равно не предотвратить.

Пытаясь возразить профессору, я вынужден был перейти на крик, потому что приближался срок пуска большого завода семейных вертолетов, и в ожидании этих прекрасных машин народ Гурундуваию, сжав зубы, с упорством и страстью налаживал необходимые связи: за стеной моей комнаты бурлила семья почтмейстера вместе с приглашенными чиновниками, монтерами, продавщицами, и нарастающий шум говорил о том, сколь велика у этих достойных людей тяга к моторизации.

Профессор вынул из заднего кармана брюк фляжку «Белой лошади» и, наливая виски в стаканы, сказал:

— Ты опять не прав. Даже приняв мои слова на веру, научный мир взялся бы их проверять. Они засели бы за свои компьютеры и, собрав информацию, только приблизили бы катастрофу.

— Что же делать? — закричал я в отчаянии.

Профессор допил виски из горлышка, выбросил пустую фляжку в окно и, глядя в стену, за которой бушевали страсти, ответил:

— Спать.

Я пишу снова, смочив ладонь кокосовым молоком, потому что руку сводит судорога. Марамоту говорит, что в этом году сезон дождей будет ранним и долгим. С тех пор как профессор отправился в Лумию за табаком для трубки, я совсем один. Я почитал бы сейчас, даже старую газету, но здесь у меня только мешок книг по компьютерам и программированию. Я нашел его в джунглях, когда искал бататы. Конечно, остались только гнилые — хорошие, как всегда, сожрали обезьяны. Побывал я и возле прежнего моего жилища. Горилла, хотя еще больше расхворалась, но внутрь меня не пустила. Я думаю, что мешок с книгами сбросили как балласт с большого оранжевого шара — он пролетел над джунглями к югу с месяц назад. Наверное, сейчас путешествуют на воздушных шарах. В мешке на самом дне я нашел прошлогодний «Плейбой», за его разглядыванием меня и застал Марамоту. Он очень обрадовался — нагота для него входит в правила приличия, и снимки в журнале он считал признаком того, что возрождаются старые добрые обычаи. Я как-то не подумал, что в детстве вместе со всей семьей он ходил нагишом, а все эти мини и макси, в которые стали потом наряжаться черные красавицы, казались ему, должно быть, верхом непристойности. Он спросил у меня, что происходит в мире, но я ничего не мог сказать, потому что у транзистора сели батареи.

Пока приемник работал, я слушал его целыми днями. Катастрофа произошла в точности так, как предсказал профессор. Сильнее всего она дала себя знать в развитых странах. Сколько библиотек было переведено на компьютеры в последние годы! И вдруг с лент, с кристаллов, с ферритовых пластин и криотронов в долю секунды испарился океан мудрости. Я вслушивался в задыхающиеся голоса дикторов. Не для всех падение было одинаково болезненным, но тот, кто выше влез по лестнице прогресса, чувствительнее с нее и свалился.

В «третьем мире» после короткого шока наступила эйфория. Не нужно было, выбиваясь из сил, гнаться за передовыми, лезть вон из штанов и тростниковых юбочек, урбанизироваться, индустриализироваться, а особенно компьютеризироваться. Жизнь, которая недавно еще была нашпигована комиссиями, футурологами, пушками, очистными сооружениями и границами, вдруг расплзлась в приятное болотце, в теплое однообразие вечной сиесты. И кокосы можно было достать без труда, а какой-то год назад они были мечтой — экспортный товар! И войска как-то сами собой разбрелись, в джунглях я часто наткался на брошенные противогазы, комбинезоны, ранцы, мортиры, обросшие лианами. Раз ночью я проснулся от взрыва и подумал, что это, наконец, горилла, но оказалось, что бродячие павианы нашли ящик запалов.

Негритянки в Лумии, не сдерживая стонов удовлетворения, избавились от лакированных туфель и дамских брюк, в которых было чертовски жарко. Группового секса как не бывало — во-первых, потому что вертолетов не будет, во-вторых, нет бензина, а в-третьих, никому никуда не надо ехать, да и зачем? Как тихо, должно быть, сейчас в Лумии...

По правде говоря, катастрофа оказалась вовсе не таким уж злом. Даже если кто-нибудь встанет на уши, все равно он не будет через час в Лондоне, через два в Бангкоке, а через три в Мельбурне. Ну, не будет — и что из того? Конечно, множество фирм обанкротилось. IBM, говорят, выпускает теперь таблички и номерки, но, может быть, это только анекдот. Нет ни стратегических компьютеров, ни самонаводящихся головок, ни

цифровых машин, нет войны подводной, наземной и орбитальной. Информационные агентства трубили о спаде производства, биржи лихорадило, в октябре на Пятой Авеню бизнесмены выскакивали из окон так густо, что сталкивались в воздухе.

Перепутались расписания поездов и самолетов, заказы номеров в отелях. Никому в метрополиях не надо больше раздумывать, лететь ли, к примеру, на Корсику, или поехать в автомобиле, или нанять через компьютер машину на месте, а может быть, в три дня объехать Турцию, Месопотамию, Антильские острова и Мозамбик с Грецией впридачу...

Интересно, кто делает эти воздушные шары? Наверное, какие-то кустари. У последнего шара, который я наблюдал в бинокль, до того как у меня отняла его обезьяна, сетка была сплетена из очень коротких шнурков, вроде ботиночных — может быть, в Европе тоже стали ходить босиком? Наверное, длинные шнуры плелись под контролем компьютеров. Страшно сказать, но я своими ушами слышал — прежде чем радио замолчало, — что доллара больше нет. Издох, бедняжка. Жаль только, что не довелось вблизи наблюдать Переломный Момент.

Представляю себе: слабый блеск и треск — и машинная память в мгновение ока стала пустой, как мозг новорожденного, а из информации, перешедшей в материю, неожиданно образовался маленький Космосик, Вселенчик, Мирозданчик — вот так в комочек атомного праха превратились знания, накопленные веками. Из радиопередач я узнал, как выглядит этот Микрокосмос, малюсенький и замкнутый так, что нет возможности в него проникнуть. С точки зрения нашей физики, он представляет собой особый вид пустоты, а именно «Пустоту Равноплотную, Полностью Непроницаемую». Он не поглощает света, его невозможно растянуть, сжать, разбить, вылущить, потому что он находится вне нашей Вселенной, хотя и внутри ее. Свет соскальзывает по его гладким закраинам, его обтекают любые частицы и, как ни трудно себе это представить, авторитеты утверждают, что оный, как его называет Донда, «Космососунок» является вселенной, во всем равной нашей, то есть содержит в себе туманности, галактики, звездные скопления, а, может быть, уже и планеты с развивающейся жизнью. Можно сказать, что люди повторили феномен Творения, правда, совершенно того не желая, ибо меньше всего стремились к такому результату.

Когда Космососунок появился на свет, среди ученых возникло полнейшее замешательство. Вот тогда они вспомнили о Законе Донды и принялись слать профессору письма, вызовы, телеграммы, а также всяческие почетные дипломы. Но как раз в этот момент профессор уложил чемоданы и уговорил меня уехать с ним в пограничный район, который он облюбовал заранее. С собой он взял кофр с книгами, ужасно тяжелый — я в этом убедился лично, потому что последние пять километров тащил его на себе, после того как у нас кончился бензин и вездеход застрял. Теперь от него, должно быть, ничего не осталось — разобрали павианы. У нас, конечно, был изрядный запас винтовок, инструментов, пил, гвоздей, компасов, топоров и других вещей, список которых профессор составил, руководствуясь карманным изданием «Робинзона Крузо». Кроме того, он взял с собой подшивки журналов «Nature», «Physical Abstracts», «Physical Review», «Futurum», а также папки с газетными вырезками, посвященными Закону Донды.

Каждый вечер, после трапезы, проводился сеанс наслаждения кровной мстостью. Радио, включенное на половину громкости, передавало самые свежие кошмарные известия с комментариями знаменитых ученых; профессор же, пыхтя трубкой и прикрыв глаза, внимал, как я зачитываю вслух выбранные на этот вечер наиболее ядовитые насмешки над Законом Донды, а также различную ругань в адрес автора (последние, собственноручно

подчеркнутые Дондой посредством красного карандаша, я читал иногда по несколько раз). Признаться, это времяпровождение мне скоро надоело. Увы, даже великий разум может поддаться навязчивой идее. Когда я отказался читать вслух, профессор стал удаляться в джунгли на прогулки, будто бы оздоровительные, но как-то раз я застал его на поляне, где он цитировал толпе удивленных павианов наиболее примечательные места из «Nature».

Профессор стал невыносим, но все равно я с тоской жду его возвращения. Старый Марамоту говорит, что Бвана Кубва не вернется, потому что его похитил злой Мзиму, принявший облик осла. Перед отбытием профессор сообщил мне важные сведения, которые произвели на меня большое впечатление. Во-первых, из Закона Донды вытекает равнозначность всякой информации — будут ли сообщения гениальными или кретинскими, в любом случае на создание одного протона идет сто миллиардов битов. Мудрое слово и идиотское слово в равной степени становятся веществом. Это замечание в совершенно новом свете представляет философию бытия. Может быть, гностики со своим манихейством были не такими уж еретиками, какими их представила церковь? Однако возможно ли, чтобы космос, появившийся на свет от произнесения гептильона глупостей, ничем не отличался от космоса, созданного из заведомой мудрости?

Я заметил, что Донда пишет по ночам. С большой неохотой он признался мне, что это новый его труд «Introduction to Svarnetics, or Inquiry into the General Technology of Cosmoproduction».

К сожалению профессор забрал рукопись с собой. Знаю только, что, по его мнению, каждая цивилизация подходит в свое время к порогу творения космоса. Мир создают в равной мере те, кто сверхгениален, и те, кто впал в полный идиотизм. Черные и белые дыры, открытые астрофизиками, — это места, в которых необычайно мощные цивилизации попытались обойти Закон Донды или выбить из-под него основание, но ничего у них не вышло — сами себя вышибли из Вселенной.

Казалось бы, нет на свете ничего более великого, чем такое заключение. Но нет, Донда взялся писать методику и теорию Творения!

Признаться, более всего потрясли меня слова, сказанные им в последнюю ночь перед экспедицией за табаком. Мы пили молоко кокосовых орехов, замороженное по рецепту старого Марамоту, — ужасное пойло, которое мы все-таки употребляли, потому что жаль было трудов, потраченных на его приготовление. Не все было так плохо раньше — взять хотя бы виски... И вот, прополоскав рот родниковой водой, профессор сказал:

— Ийон, помнишь ли тот день, когда ты назвал меня шутом? Вижу, что помнишь. Я ответил тогда, что стал шутком в глазах научного мира, выдумав для сварнетики магическую суть. Но если бы ты поглядел внимательно на всю мою жизнь, то увидел бы еще большую путаницу и неразбериху, имя которой — тайна. В моей судьбе все было вверх ногами. Я весь вышел из случайностей, недоразумение — вот мое настоящее имя. В результате ошибки я создал сварнетику, потому что телеграфист наверняка исказил слова, которые употребил незнакомый мне, но незабвенный полковник Друфуту из кулахарской полиции безопасности. Я был уверен в этом с самого начала. Но я не пытался исправить депешу, нет, я сделал гораздо большее — я приспособил к ошибке свою деятельность, которая, как видишь, имела кое-какие последствия. Как же это получилось? Какой-то тип, появившийся на свет по ошибке, с нелепой карьерой, впутанный в клубок африканских недоразумений, вдруг открыл, откуда появился мир и что с ним будет? О нет, мой дорогой! Здесь слишком много ляпсусов. Гораздо больше, чем нужно для того, чтобы

вывести новый закон. Нет нужды пересматривать то, что у нас перед глазами, необходима лишь новая точка зрения. Взгляни на эволюцию жизни. Миллиарды лет назад появились праамебы. Что они умели? Повторяться. Каким образом? Благодаря устойчивости наследственных черт. Если бы наследственность была на самом деле безошибочной, на земле до сих пор не было бы никого, кроме амёб. А что произошло? Да ошибки! Биологи называют их мутациями. Но что такое мутация, как не ошибка природы? Недоразумение между родителем-передатчиком и потомком-приемником?

По образу и подобию своему, да, — но не в точности! Не стереотипно! И так как подобие все время портилось, появились трилобиты, гигантозавры, секвойи, козы, обезьяны и, наконец, мы.

Но ведь именно так сложилась и моя жизнь! Из-за недосмотра я появился на свет, случайно попал в Турцию, случай забросил меня оттуда в Африку. Правда, я все время боролся, как борется пловец с волнами, но все же волны несли меня, а не я руководил ими... Ты понимаешь? Мы недооцениваем, мой дорогой, творческой роли ошибки как фундаментальной категории бытия. Но не рассуждай по-манихейски. По мнению этой школы, бог творит гармонию, которой сатана все время подставляет ножку. Это не так! Если я достану табак, то допишу в книге философских течений последний раздел, а именно онтологию апостазы, или теорию такого бытия, которое на ошибке стоит, ошибку на ошибку отпечатывает, ошибками движется, ошибками творит — и в конце концов становится судьбой Вселенной.

Так сказал профессор, собрался и ушел в джунгли, а я остался ждать его возвращения, держа в руках последний «Плейбой», с обложки которого на меня смотрит секс-бомба, разоруженная Законом Донды, нагая, как истина.

нет закона — нет преступления (лат.)

Буквально — «кто есть кто»; именной справочник.

собственной персоной (лат.)

его дух (лат.)

не знаем и не будем знать (лат.)